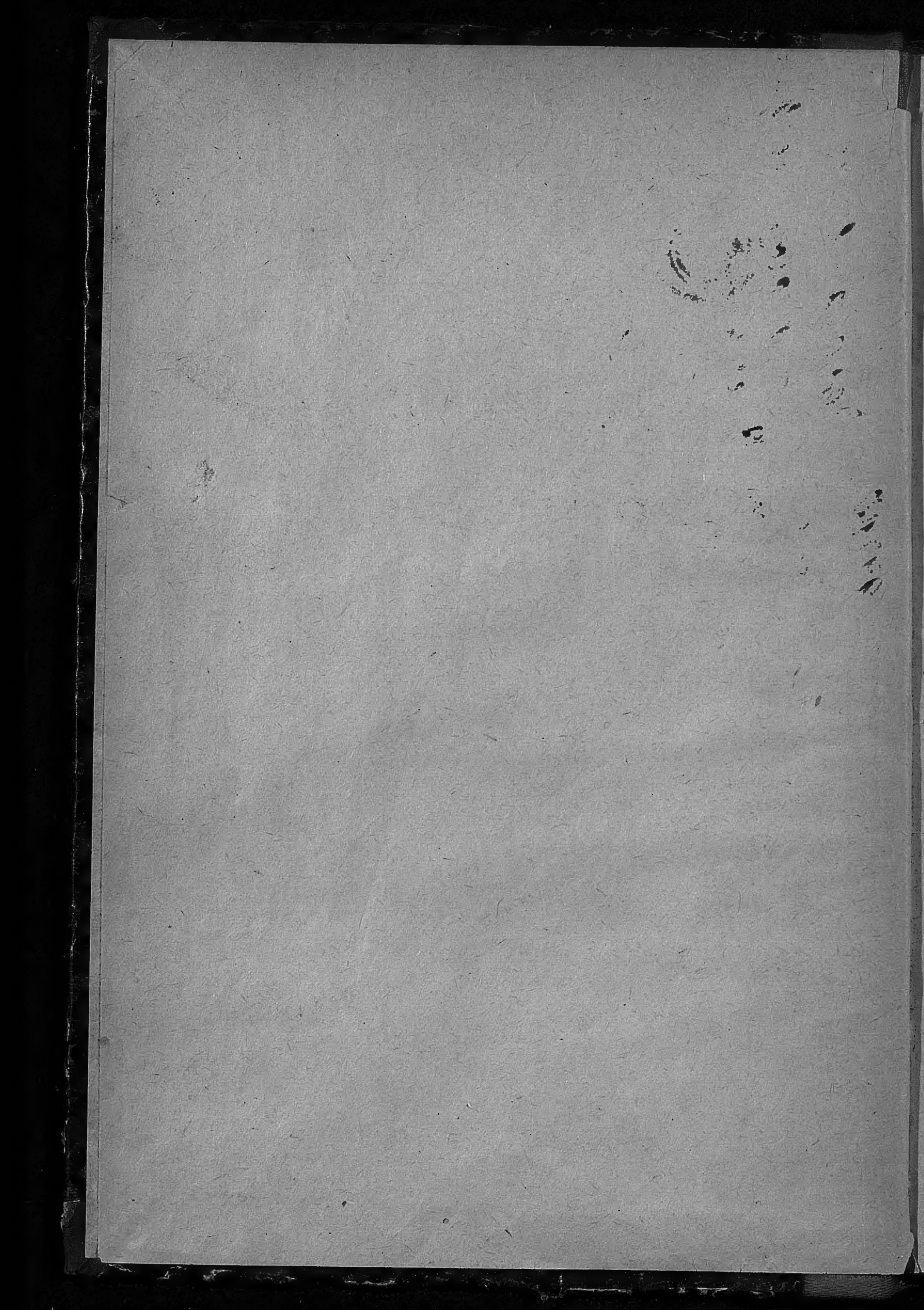
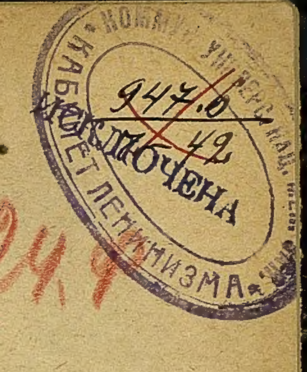
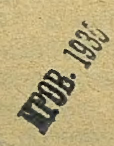


Г. Н. ЧЕМОДАНОВ





ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СТАРОЙ АРМИИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД



Гиз № 11054.
Ленинградский Гублит № 9837.
8½ л. Отпеч. 5.000 экз.

I.

Сыро, мокро, скользко.

Дождя нет, но влажный, насыщенный сыростью воздух сумел пробраться за непромокаемый плащ, шинель, суконную рубашку, и белье, пропитанное им, кажется мокрым и неприятно липнет к телу.

Хорошо еще, что осенние, грязные, низко несущиеся тучи оказались недостаточно плотными, чтобы бороться с полным диском луны. Бледным неподвижным молочным пятном она виднелась на небе среди быстро несущихся облаков, и иногда даже ее улыбающаяся физиономия ненадолго выглядывала в редкие прорывы туч.

Небольшая группа людей, уже около часу лежавшая на пулеметной площадке массивного блиндажа[1], с нетерпением поджидала этих просветов: командир батареи капитан Михайлов, командир 12-й роты капитан Малкин и я с напряжением всматривались в впереди лежащую местность. Расположение пулеметной щели, тут же стоящий пулемет заставляли нас принимать самые неудобные позы.

— Вот дьявольское положение, — выругался, не вытерпев, Михайлов: — ни сесть, ни лечь, ни встать; прямо загадка для детей младшего возраста. Нога отекла, рука онемела, проклятый пулемет в бок впился.

— Нечего, брат, приучайся, — коротко бросил я ему, не прерывая своих наблюдений.

С Михайловым нас связывала старая дружба еще по кадетскому корпусу. Не видались мы с ним со дня выпуска, и на днях он совершенно неожиданно явился ко мне в землянку; оказалось, что по переводу из тыла он был назначен как раз командиром той батареи, которая стояла на моем участке. С Малкиным, высоким курчавым блондином с пушкинскими бачками, нас сблизили годы войны и некоторая общность взглядов.

---

[1] Блиндажем называется крытое помещение на линии или в непосредственной близости окопов. Устройство и размеры их бывают самые разнообразные. Одни служат для жилья и защиты людей от артиллерийского огня, другие для защиты пулеметов и другого более крупного орудия и лиц, работающих ими во время боя. Главное их отличие от землянок, это крепкое прикрытие сверху, состоящее обычно из ряда бревенчатых накатов, земляных мешков, камней, земли и железо-бетонных плит.

На пороге блиндажа сидели и тихо беседовали артиллерийский унтер-офицер, которого привел с собой Михайлов, и наш дежурный наблюдатель-пулеметчик.

— Ваше высокоблагородие, — обратился ко мне пулеметчик: — закурить можно?

— Вали, только с огнем осторожно, — ответил я. — Да не покурить ли и нам, господа? — обратился я к компании. — Спичек против щели не зажигай, — предупредил я Михайлова, с готовностью принявшего мое предложение и зашумевшего в темноте коробком.

Предосторожность была не лишняя. Блиндаж, в котором мы находились, только небольшой речкой Мисса отделялся от немецких окопов. Шум многоводной в этот дождливый период реки, быстрые волны которой разбивались о сваи как раз против нас находившегося разрушенного моста, заглушал наши осторожные голоса; но яркая вспышка света сейчас же бы обратила на себя внимание невидимого, не слышного, но чувствующего противника. Блиндаж этот был у них на особом учете, и репрессии в виде нескольких точно прицельных выстрелов не замедлили бы последовать.

Боевой участок, который в настоящее время занимал мой батальон, штабом армии признавался особенно серьезным и даже носил специальное название «Плоканенского укрепленного узла».

На протяжении десятка верст река Мисса была естественной преградой между нашей и немецкой позицией; как наши, так и немецкие окопы ютились по опушке леса, имея между собой широкую, до версты, мокрую болотистую долину реки. У бывшего когда-то, теперь до основания разрушенного, хутора Плоканен, вследствие условий рельефа местности, наши окопы подошли вплотную к реке и только ею отделялись от немецких; мало того, в этом именно месте, не так давно перебравшись за реку, немцы занимали южную половину моего настоящего участка.

Ровно месяц тому назад стоявшие тут латыши, по распоряжению штаба армии, неожиданным, но грозным ударом выбили немцев из их позиции, прогнали за реку и разрушили мост, остатки которого были у нас перед глазами.

Естественно, что теперь этот участок, острым углом, как щупальцами, соприкасающийся с немцами, имел для нас исключительное значение и был бельмом на глазу у противника.

Утомленных боем, ослабленных потерями латышей сменил наш Сибирский стрелковый полк, и на долю моего батальона выпал жребий занять, перестраивать и укреплять этот участок.

Однообразная позиционная жизнь последних месяцев сменилась кипучей деятельностью. Ждали реванша со стороны немцев. Ответственность и увеличенная опасность волновали годами войны утомленные нервы. Штабы, начиная с полкового и кончая армейским, ежедневно требовали отчетов о ходе работ, представления

схем и засыпали заглазными советами и указаниями. Работали без устали, а конца работ, казалось, и не предвидится.

Для ночных работ в помощь батальону ежедневно присылали из резерва роту. С наступлением темноты эта рота приходила в мое распоряжение и незадолго до рассвета уходила в тыл для дневного отдыха.

Солдаты и офицеры шли на эту работу неохотно: пора боевых увлечений, боевого азарта давно прошла, менять заслуженный отдых, относительную безопасность резерва на тяжелый, зачастую под дождем, ночной труд, рисковать, быть, как говорится, зря убитым никому не хотелось, а риск этот был, были и жертвы.

Каждую ночь повторялась одна и та же история: осторожно, робко выходили люди за передовую линию, шопотом передавались распоряжения, вполголоса срывались ругательства на товарища, неловко подхватившего бревно или железо-бетонную плиту [1], одергивались смельчаки, порывавшиеся закурить папиросу. Но проходил час-другой, солдаты свыкались с обстановкой, пропадала ее таинственность: рыли землю, таскали бревна, вколачивали колья, все так обычно, привычно и просто. Менялось настроение, а с ним пропадала и осторожность. Разговоры становились громче, то там, то тут вспыхивали огоньки папирос, сочная отборная ругань властно вклинивалась в общий гул, стоявший над местом работы. Шум реки, обычное завывание осеннего ветра становились недостаточными: чуткий немец начинал слышать, определял место работ.

Та-та-та-та. Дробно и резко бил его пулемет, и рой пуль летел в направлении работающих. Все моментально стихало: рывшие землю припадали к сырым ямам, работавшие в окопах врастали во влажную земляную стену, работавшие впереди по установке проволочных заграждений, как ветром подхваченные, переносились к окопам, вскакивали на бруствер и камнями валились на их измешенное ногами грязное дно.

Глухой топот ног, усиленное дыхание массы — и все как бы вымирало. Лишь иногда, где-то в темноте, слышался стон случайно раненого стрелка. А пулеметы, — их всегда работало два, — еще долго монотонно и резко-четко били свою дробь, осыпая пулями уже пустое, в смысле живых открытых целей, место бывших работ.

Не менее часу приходилось тратить, чтобы опять организовать работы, разыскать забившихся в щели стрелков, выругать их, успокоить, найти в темноте разбросанный инструмент.

Но вот работа опять закипела, опять тишина, осторожность и взаимное наблюдение за этой осторожностью.

---

[1] Для прикрытия блиндажей доставлялись на фронт железо-бетонные плиты, которыми и венчалось прикрытие блиндажей в особо важных и обстреливаемых местах позиции. Для поднятия и переноса такой плиты требовалось усилие не менее четырех человек.

Прошел час — и тихо нарастающий шум входит в свою силу; забыты переживания, не помнятся и опасности. Таково свойство русского человека. Опять обиженный непочтением к себе немец заговорил пулеметом—та-та-та; картина повторяется: то же общее смятение, прыжки в грязь окопов, усиленное испуганное дыхание толпы; но уже кое-где слышатся смех и так присущие русскому солдату в тяжелые минуты привычной опасности шутки и остроты.

Потери от этих пулеметов, как и вообще от ночного огня, были невероятно маленькие: за все время почти месячных работ были убиты два стрелка и ранен один офицер и шесть стрелков, но производительность работ они мне понижали на 50°/₀. Я горел против этих пулеметов бессильной злобой. Мои непосредственные просьбы к командиру батареи участка, степенному подполковнику, о помощи оказались тщетными.

— Я не могу гоняться за каждым пулеметом, — отвечал он мне по телефону: — у меня есть общие задачи.

Пробовал просить через командира полка, но тот по своей осторожности ничего не сделал.

Взаимоотношения пехотного начальства с батареями, входящими в их участок, были очень неясны; с одной стороны, они им будто бы подчинялись, но в то же время получали все директивы, распоряжения и слушались только своих командиров артиллерийских бригад. Затяжные споры, осложняемые дознаниями, расследованиями и другой волокитой, были зачастую результатами этих взаимоотношений. Но осторожный, чтобы не сказать больше, командир полка боялся и избегал всяких осложнений с участием высшего начальства, и мне оставалось только покориться неизбежному. Вдруг повезло: степенный подполковник получил бригаду, и его место занял Михайлов.

Выслушав мою грустную повесть о назойливых пулеметах и отказе его предшественника помочь мне, Михайлов горячо и крепко выругал как пулеметы, так и степенного подполковника. Мы быстро с ним сговорились.

Место злополучных пулеметов мы уже давно определили, но Михайлов хотел лично убедиться в их расположении, чтобы наверняка и точно произвести пристрелку. Это его желание мы и приводили сейчас в исполнение, забившись в пулеметный блиндаж, расположенный в остром исходящем углу моего участка.

Работы сегодня шли по установке новой и усилению старой линии проволочных заграждений.

— Фу ты чорт, — ворчал Михайлов: — скоро ли этот немец затараторит? Да и на работах у тебя что-то тихо, — обратился он ко мне.

— Верно, — согласился я: — сегодня уже что-то ребята себя очень благоразумно ведут; по времени давно бы им пора разойтись.

— А это, ваше высокоблагородие, — заговорил с порога пулеметчик, и в темноте слышалась его улыбка, — сегодня 14-я рота

на работах, а последний раз, помните, ей не повезло: двух стрелков ранило. Вот она сегодня и присмирела.

— Так что мы сегодня, может быть, зря время проводим? — спросил Михайлов разочарованным тоном.

— Никак нет, — успокоил его пулеметчик: — не выдержат, не может этого быть, разве это возможно, — и они с артиллеристом тихо засмеялись. — Да вот от нас-то с порога лучше слышно, уже пошумливают, — добавил он весело.

— Воображаю, как Редькин изводится, — раздался из темноты голос Малкина.

— Кто это Редькин? — спросил Михайлов.

— Да командир роты, — ответил Малкин: — старый служака, еще перед японской войной из фельдфебелей выслужился.

— За боевые отличия? — полюбопытствовал Михайлов.

— В том-то и дело, что нет; на службу пришел почти неграмотным, кончил учебную команду, а потом, как говорят стрелки, «губу разъело», взялся за науку, поступил в юнкерское училище; военному делу, как говорится, «без лести предан», но вот, представьте себе, нудный и тяжелый человек для солдат.

— Бывает, — неопределенно протянул Михайлов.

— Знаешь, — обратился ко мне Малкин, — мне про него Солнцев рассказывал, — эти твои работы для Редькина проклятие какое-то: всю ночь на месте не посидит, носится в темноте, в ямах спотыкается, на колючую проволоку нарывается, все добивается тишины.

— Странно, что у человека с такой школой распущена рота, — не поворачивая головы от цели, заметил Михайлов. — Да и как они, идиоты, сами не понимают своей пользы, уж я не буду требовать от них сознания важности общего дела.

— Ну, нет, — резко возразил Малкин, и я понял, что он обиделся за «идиотов»: — рота у него в руках. Но тут ничего поделать нельзя; по себе и своей роте знаю, одной дисциплины в этом случае мало, нужна какая-то другая — общая, народная, что ли, дисциплина. Понимаете, если бы можно было им отдать распоряжение не разговаривать, вообще не открывать рта во время работ, поверьте, во имя воинской дисциплины они бы это сделали, по крайней мере, я за свою роту поручусь; но этого сделать нельзя, работа идет групповая: поднять бревно, бетонную плиту, перетащить моток колючей проволоки, наконец постановка кольев и та требует коллективной работы и обмена мнений. Потрудитесь-ка вот тут, в этой массе, уловить, когда шопот переходит в полголоса и наконец начинается базар, слышный даже у немцев.

— Вы, вот, изволили, — подчеркнуто вежливо и зло продолжал он, обращаясь к Михайлову, — обмолвиться «идиотами».

— Володя, не сердись, — одернул я его.

— Да нет, зачем сердиться, — сбавил он тон: — но дело в том, что я их отлично понимаю.

— Вот, — обратился он опять к Михайлову: — этот участок очень опасный, тут и днем и ночью стрельба: то пулеметом польет, то шрапнельная очередь трахнет, не говоря уже о ружейном огне. Ходы сообщения видали какие? Ну, так вот, мы с вами, да всякий другой человек, идем на этот участок с осторожностью, прямо, скажем, со страхом, и это беспокойство никак не поборешь. А спросите его, — указал он на меня, — он тут себя как дома чувствует; мы с вами здесь на открытом проходе как зайцы будем озираться, а он и внимания не обратит. Это почему?

— Да, вероятно, он храбрей нас с вами, — улыбаясь бросил Михайлов.

— Ну вот, храбрость! — досадливо перебил его Малкин. — Какая там к чорту храбрость, где она?.. Это уж вы оставьте для дам и барышень и вообще для тыла. Совсем не в том дело, а дело в особой нашей русской... не знаю, как и назвать. Вот по отношению стрелков вы это идиотизмом назвали, — может быть, и по отношению нас подберете соответствующее слово.

— Я не понимаю, какое вам нужно определение, — очевидно, поддразнивая Малкина, ответил Михайлов. — Вы говорите, что мы с вами боимся, а он не боится. Я и назвал это храбростью, а вы изволили, — подчеркнул он насмешливо, — не согласиться.

— Странно, что вы не можете или не хотите уловить мою мысль, — горячо перебил Малкин. — Ну, так вот, спросите его, храбрость ли это. Он вам, конечно, скажет, что, будь этот участок не его, будь он на нем таким же гостем, как и мы, его самочувствие было бы не лучше.

— Подождите, господа, — перебил я спорящих: — а ты, Евгений, от окошка не отворачивайся, — сейчас, очевидно, немец начнет. Прислушайтесь-ка лучше, как наши ребята расшумелись.

— Слыхать, ваше высокоблагородие, как капитан Редькин ругаются, — послышался из темноты насмешливый голос пулеметчика.

— Здорово ругается? — засмеялся Малкин.

— Отчетливо, ваше высокоблагородие, даже по-матерному пущают.

Мы вздрогнули и прильнули к пулеметной щели.

Та-та-та — резко, отчетливо, как бы не спеша, заработали немецкие пулеметы.

— Смотри, смотри, — заволновался Михайлов: — они, ведь, не из блиндажа стреляют, а около. Видишь, ближе к нам.

Но у меня впопыхах свалилось пенсне, и я, разыскивая его в темноте, ничего не видел.

— Верно, верно. У них рядом, очевидно, открытая пулеметная площадка устроена, — подтвердил Малкин.

Артиллерист-наблюдатель не выдержал и, позабыв о всяком чинопочитании, примостился рядом со мной, затрудняя мне поиски.

Пулеметы уже затихли, когда я водворял на место найденное и протертое пенсне.

— Видел? — обратился ко мне довольный Михайлов.

— Ни черта не видел, — проклятое пенсне подвело, — отвечал я недовольно. — А, впрочем, не суть важно, пристрелку-то ты вести будешь, лишь бы ты хорошенько разглядел.

— Ну, я-то уж теперь не ошибусь, будешь доволен, — самоуверенно сказал Михайлов.

— Ну, Нефедов, ты свободен, можешь итти, — обратился он к своему унтер-офицеру. — Завтра, значит, чуть свет с 1-го наблюдательного пункта сюда провод протяни, мы пристрелку отсюда сделаем.

— Слушаю, — отвечал артиллерист. — Только я, ваше высокоблагородие, один не пойду, вас подожду: тут и днем-то не дойдешь, запутаешься, а ночью и совсем к немцам попадешь.

— Ну, врешь, река не пустит, — снисходительно засмеялся пулеметчик.

— Ладно, — согласился Михайлов: — жди только уж не меня, а командира батальона. Я, брат, тоже без его помощи отсюда не выберусь.

И, действительно, участок в этом отношении представлял собою невероятный лабиринт. Местность имела большой уклон к стороне немцев, и, благодаря этому, немецкие окопы и часть ходов сообщений, которые были на этом месте раньше, нам использовать не представлялось возможным; приходилось рыть свои новые; засыпать немецкие было некогда. Получалась невероятная путаница, и даже мы, постоянные обитатели участка, разбирались подчас в ней с трудом.

— Ну, вас я задерживать не буду, — заявил я: — сегодня артиллерии почет и уважение. Только пройдем не прямо, а зайдем на место работ, — нужно справиться, не задели ли кого пулеметы.

Низко нагнувшись, мы выбрались из блиндажа в глубокий в этом месте ров окопа.

Ветер стихал, начал накрапывать дождик; непросыхающая грязь неприятно хлюпала под ногами.

— Что это за тень Гамлета? — остановился Михайлов, наткнувшись в темноте на одинокую фигуру стрелка, стоявшую на врытой в бруствер [1] ступеньке.

Фигура фыркнула.

— Газовый наблюдатель, ваше благородие, — послышался ответ, но фигура в виду присутствия начальства, подчеркивая знание службы, не повернула даже головы, а еще плотней прильнула к наблюдательной щели. Справа от наблюдателя находилась большая ниша, полная хворосту, стояла банка с керосином, и тут

---

[1] Главные части окопа—ров и земляной вал к стороне противника, который и носит название бруствера.

же висел между двух столбов кусок рельса, в который били для производства газовой тревоги.

— Ну, а гнилыми яблоками не пахнет? — пошутил Малкин, иронизируя над официальной инструкцией для опознания наблюдателями приближения газов.

— Никак нет, не слыхать. Да его, ваше благородие, все равно река тут не пустит, — с сознанием своего достоинства от своих глубоких познаний в газовом деле ответил наблюдатель.

Идем дальше. Чувствуется, что узкая щель окопа понемногу поднимается в гору. Глубокий траверс[1] пересекает путь. Обходим его, и в темноте неожиданно сверкнул свет.

Солидный, вросший в бруствер блиндаж оказался в двух шагах. Тут помещалось дежурное отделение. Небольшая, низко ушедшая в землю дверь открыта; в дверях стоят три стрелка и мирно покуривают; два человека залезли на бруствер; очевидно, огонь пулеметов вызвал их на дождь, а, может быть, утомил сырой, спертый воздух блиндажа.

— Нет, ничего не слыхать, — слышу я голос одного из стоящих на бруствере: — должно, сегодня никого не задело.

— Командир батальона, — послышался громкий шопот одного из стоящих у двери. Две фигуры с бруствера моментально скатились в ров; один из стоящих внизу юркнул в дверь, очевидно, предупредить его обитателей о приходе начальства.

Блиндаж был основательный и крепкий, как и все, что строилось на этом участке. Над небольшой, глубоко вросшей в землю дверью можно было сосчитать 6 пакетов толстых бревен, с прокладкой между ними земляных мешков, камней и ряда хвороста; все это еще было увенчано рядом железо-бетонных плит, прикрытых для маскировки дерном; внутри низкий потолок поддерживался тремя рядами солидных десятивершковых бревен; небольшое продолговатое окно, вправо от двери, давало днем достаточно света. Между задними рядами стоек были устроены нары для отдыхающей смены; впереди стоял длинный стол, около него скамейка с врытыми в землю ножками; на полу были брошены деревянные решетки, так как другим способом нельзя было избавиться от грязи, наносимой на ногах из окопов.

Знакомая картина: на столе тускло горит и по обыкновению коптит небольшая керосиновая лампа; на нарах беспокойно спят в самых разнообразных позах люди отдыхающей смены, на них измятые шинели, перетянутые кушаком с подсумками, через плечо перекинут патронташ, под головами вещевые мешки, тут же

[1] Окопы, имеющие длинное прямое протяжение, могут при случайностях войны обстреливаться противником продольно; кроме того, разорвавшийся в таком окопе снаряд поражает большое количество находящихся в нем людей. Чтобы избежать этого, в таком окопе оставляются поперечные толстые земляные насыпи, которые называются траверсом. Ров окопа идет кругом траверса.

рядом «под рукой» винтовка. Мирно беседующую у стола группу мы, очевидно, встревожили своим появлением. Все вскочили, лица приняли казенно застывшее выражение, какая-то книга, которую, видимо, читали вслух, валялась около лампы.

Унтер-офицер встретил меня у порога.

— Ваше высокоблагородие, в дежурном отделении никаких происшествий не случилось, со стороны неприятеля. . .

— Тоже, надеюсь, все благополучно, — перебил я его доклад.

— Так точно, все тихо, — ответил он уже нормальным тоном. — Вот только немец опять по рабочим огонь из пулеметов открывал.

— Ну, уж это он последний раз сегодня безнаказанно потешается, — сказал я унтер-офицеру.

Моя фраза, как и надо было ожидать, очень заинтересовала стрелков: все находившиеся в землянке начали проталкиваться к дверям, бывшие снаружи сгрудились плотнее; напряженное любопытство было видно во всех уставившихся на меня глазах.

Мне было понятно любопытство этих людей, годами влачивших тоскливую однообразную окопную жизнь, а тут еще новость касалась такого близкого жизненного вопроса.

— Вот мы, — начал я с расстановкой, чтобы дать им возможность и удовольствие прожевать каждое мое слово, — договорились с командиром батареи отучить немца от их стрельбы; сейчас высматривали место их пулеметов, завтра командир батареи произведет незаметную пристрелку. . .

— Ой, заметят, — не удержался кто-то из стрелков. Сказал это он таким сокрушенным юмористическим тоном, что все присутствовавшие невольно рассмеялись.

Обиделся артиллерийский наблюдатель.

— А, ты, Фома неверный, завтра башку из окопа высунь да и посмотри на пристрелку, тогда и каркай, а раньше времени нечего «заметят», — возмущался артиллерист. — С толком сделать, так, будь ты хоть три раза немец, ничего не заметишь.

— Ну, уж башку-то мы днем не высунем, ученые, а в щелочку через щит [1] обязательно посмотрим, — ответил веселый стрелок.

— Дело в том, — перебил я споривших, — что вряд ли немец заметит. Пристрелка будет вестись по всей линии окопов, по многим пунктам, и в это место тоже будет брошено, как бы случайно, несколько пристрелочных снарядов: немец вряд ли поймет сразу, в чем дело.

— Вот видишь, — укоризненно бросил отделенный командир неверующему. — А только, ваше высокоблагородие, вряд ли толк

---

[1] При близком расстоянии окопов от окопов противника ружейный огонь становится настолько точным, что пули бьют наверняка по амбразурам (окошечки для стрельбы). В таких случаях употребляют стальные щиты с минимальными отверстиями для наблюдения за противником.

будет, — обратился он ко мне и Михайлову: — блиндаж я в бинокль рассматривал, — больно крепок, полевой гранатой ничего не сделаешь.

— Да вот сегодня командир батареи высмотрел, что пулеметы-то они на ночь ставят на открытую площадку, оттуда и лупят.

— Вот, вот, — обрадовался кто-то из стрелков: — я говорил, что не могут из этого блиндажа пули так рассыпаться, — ведь, вон куда хватает, по всему участку. А щели? Ты-то их видел? — обратился он торжествующе к кому-то из товарищей.

— Значит, ваше высокоблагородие, — заговорил оживленно унтер-офицер: — как он завтра заговорит, ему сразу снаряд по тому месту.

— Здорово, ловко! — послышались веселые восклицания со стороны стрелков.

— Да, вот, командир батареи сам вам расскажет, как это будет, — выдвинул я Михайлова вперед.

Дождик увеличился, и мы вошли в блиндаж.

Михайлов с удовольствием стал подробно излагать восторженной аудитории, как он завтра произведет пристрелку, как на основании данных пристрелки с вечера наведет на нужное место два орудия, зарядит их, приготовит и другие снаряды с нужной установкой дистанционной трубки. Потом он будет сидеть у меня в землянке с телефонной трубкой в руке, а с другой на батарее будет сидеть его младший офицер.

— Как только немцы та-та-та, я в трубку кричу: «огонь», и сейчас же два снаряда разорвутся где нужно, один на удар, другой на шрапнель, — невольно увлекаясь, рассказывал Михайлов.

Бурная радость стрелков заразила и нас, и, простившись под казенные, на этот раз веселые возгласы: «Счастливо оставаться!» мы весело зашагали по грязи окопа, поминутно в темноте задевая то одним, то другим плечом за скользкие влажные его стены.

Дошли до знакомого мне выхода из окопов в поле; вот мы и на месте работ. Мелькают в темноте редкие одиночные люди, лежат мотки брошенной впопыхах проволоки.

Все-таки уже одна группа приступила к работе, слышны глухие удары забиваемого в болото кола. Подошли. «Где командир роты?» задаю вопрос.

— Людей по окопам собирает, ваше высокоблагородие, — отделяется от группы унтер-офицер.

— Попроси их ко мне.

Унтер-офицер отошел шагов пять в сторону и протяжно, довольно громко закричал:

— Послать командира роты к командиру ба-та-ли-о-на!

— Послать командира роты к командиру ба-та-ли-о-на, — повторил кто-то ближе к окопам. — Послать командира роты

к коман-ди-ру ба-та-ли-о-на! — послышалось еще дальше, но, очевидно, в том направлении, где был Редькин.

— Где командир батальона? — послышался в темноте голос Редькина.

— Я здесь, Петр Петрович, — крикнул я на голос.

— Да чего вы, черти, кричите, опять немец огонь откроет, — забеспокоился Михайлов.

— На одиночные крики не откроет, общего шума будет ждать, — успокоил я его.

— Ну, как дела, Петр Петрович? — поздоровался я с Редькиным. — Все ли у вас благополучно на этот раз?

— Так точно, на этот раз слава богу, — отвечал запыхавшийся Редькин. — Но, понимаете, ничего с этими олухами поделать не могу.

— Ну, вот что, во-первых, не волнуйтесь, скоро мы, может быть, этот вопрос ликвидируем, а теперь кончайте-ка работы, уж около 4 часов. Когда-то опять людей соберете, пока что зря время пройдет, и люди измотаются.

— Правильно, правильно, — спешил согласиться со мной Редькин.

— Так вот,—закончил я:—отдайте распоряжение, пускай люди собираются к резерву, а сами по пути заходите стакан чаю выпить.

— Спасибо, спасибо!

И мы двинулись в обратный путь.

II.

Последний, с липкой грязью, ход сообщения кончался в группе молодой поросли. Свободно вздохнули и направились «по твердой почве» к опушке редкого перелеска, где была моя землянка-блиндаж, громко именуемая штабом батальона. В полуверсте сзади на другой опушке перелеска были землянки резервной роты.

Несуразной грудой выглядывал в темноте этот «штаб батальона», и если бы не два приветливо светящихся оконца, его можно было бы принять за неуклюжий, не у места брошенный капризной природой уродливый бугор.

Вот знакомая калиточка палисадника, сделанная заботливой рукой моего денщика Николая, перильца, восемь ступенек вниз. Привычный изгиб в три погибели перед маленькой дверью — и мы вошли в первую, большую комнату «штаба». Потолок достаточно высокий, чтобы, вытянувшись во весь рост, его не задеть: налево у окна стол, на нем три телефонных аппарата, перед ними на самодельной скамейке заспанный дежурный телефонист водит носом по какой-то засаленной книжке.

Фонические телефоны пищат почти беспрерывно; ти-ти-ти, та-та-та — слышатся постоянно из их трубок какие-то уж переставшие даже надоедать призывы.

Прямо против двери нары, на которых теперь спят два свободных телефониста и три человека связи; четвертый с денщиком возятся у плиты, кипятя чайники и разогревая мой запоздавший обед. Тонкая дощатая перегородка, с такой же дверью вправо, отделяла мое помещение от этого. Три человека и мой денщик, вошедший помочь нам раздеться, сразу наполнили небольшую комнатку. Но уж тут было весело и казалось уютно: пятнадцатилинейная лампа ярко светила, новый сосновый некрашеный стол и такие же две табуретки ласкали глаз своим чистеньким свежим видом, походная кровать в углу с узорчатым байковым одеялом и подушкой со свежей белой наволочкой казались принадлежностью комфорта. На стене около кровати аккуратными руками Николая кнопками были прикреплены вместо ковра два листа газеты «Русское Слово», а на них разбросано несколько картинок-открыток, полученных мною в разное время с далекой родины.

Мокрые надоевшие шинели и плащи сняты; из первой комнаты приносится чурбан вместо недостающей табуретки, и мы за столом; а на столе уже кипит моя гордость и предмет зависти товарищей — небольшой, великолепно вычищенный медный самовар. Тут же судок с супом, другой с двумя котлетами и кучкой макарон, продукт полковой офицерской кухни; на тарелке кусок копченой колбасы и раскупоренная коробка сардинок.

— Налицо все признаки армейского пира, — острит Михайлов. — Не вижу главного, — и он выразительно щелкнул пальцем по воротнику тужурки.

— На нет и суда нет, — в тон ответил я.

— Не лукавь, — перебил Малкин: — вчера еще хвастался, что заветная бутылка коньяку есть. Мы, брат, не гордые, не все водку, иногда и коньячку можно.

— Так ведь заветная, — пробовал я отбиваться. — Мало ли что может случиться... Как лекарство берегу.

Но ничего не вышло, пришлось уступить.

После застольных разговоров усталых, продрогших и проголодавшихся людей о преимуществах коньяку над водкой и копченой колбасы над вареной, разговор перешел на злобу дня — о нашем плане борьбы с пулеметами.

— А не показалось ли бы тебе более естественным и правдивым, — обратился ко мне Малкин: — если бы на твои слова о плане придушения немецких пулеметов стрелки разразились бы недовольными возгласами: «ловко!» или там «здорово!» а несколько иными, например: «давно бы пора», «наконец-то додумались»? [1]

---

[1] У немцев дело борьбы с нашими отдельными пулеметами, бомбометами и минометами было поставлено великолепно; стоило только открыть огонь, как сейчас же это место засыпалось снарядами всех калибров. С этим приходилось сильно считаться, часто менять места их установок и даже избегать, без самой острой нужды, открывать огонь из этого рода оружия.

— Это вы здорово правильно заметили, — поддержал его Михайлов, передергивая в свою пользу и как бы случайно проглатывая лишнюю рюмку коньяку. — А мы-то себя с тобой сегодня героями перед ними чувствовали, благодетелями! — засмеялся он мне. — Ведь вы нас, Владимир Александрович, холодной водой окатили, — с комичной миной огорчения заявил он Малкину.

Но я с ним не соглашался. По моему высказанному им мнению, уже прошла пора считать стрелка ребенком. Это уже не были наивные деревенские парни мирного времени, вышколенные в военной муштре. Годы войны, постоянная смерть перед глазами заставляли их думать и присматриваться к окружающему. Наконец постоянная совместная окопная жизнь их с офицерством, при условиях, которые, помимо даже желания, заставляли сближаться, не могла не отразиться на их осведомленности в жизненных вообще для полка вопросах. Нельзя неделями спать на одних нарах, есть из одной чашки, — а такие положения создавались часто, — и держать себя чуждым окружающим, не поделиться с ними, не поговорить по-человечески.

Спорщики начали сдаваться, когда в большой комнате послышалось движение. По громкому возгласу поручика Солнцева, младшего офицера Редькина: «Здорово, денщичья сила!» мы догадались, что к нам на перепутьи и в ожидании сбора роты зашли Редькин и Солнцев.

После небольшой возни, видимо, от снимания намокших шинелей и плащей, они вошли в комнату, щурясь от яркого света моей «молнии». Редькин, как всегда, немного сутулился и хмурился, а Солнцев по обыкновению с сияющим лицом. Всегда веселый, всегда всем довольный, этот человек не знал, казалось, что такое уныние. Только что выпущенный за год до войны в офицеры, он в первых боях под Варшавой был ранен и долго валялся по госпиталям. Не использовав предоставленного ему отдыха, он вернулся в полк для того, чтобы в первом же бою по возвращении быть опять раненым. Его долгое невольное отсутствие с фронта задержало его ускоренное, по военному времени, производство в следующие чины, и он все еще был поручиком и младшим офицером, когда более счастливые его товарищи в чине штабс-капитанов давно командовали ротами.[1] Но честолюбие было ему, видимо, чуждо, зависти он тоже не знал и весело жил, довольный собой и любимый товарищами офицерами и солдатами. Попав в роту Редькина, что считалось большим несчастьем среди молодежи, он и тут не унывал, смягчая для роты тяжесть характера Редькина и связанного с ним гнета.

---

[1] Во время войны для поощрения офицеров, находящихся в боевой линии, и для привлечения их туда было введено ускоренное производство в чины по особо сокращенным срокам для беспрерывно пребывавших на позиции. Для младших чинов такой срок доходил всего до 6-ти месяцев.

«Вова» называли его офицеры, так же за глаза звали его и солдаты.

— Поручик Вова без вас заходили, — докладывал мне не раз совершенно серьезно Николай.

С его назначением в роту Редькин стал реже бить солдат. Вова протестовал всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Недавно на этой почве разыгралась довольно крупная история. Как-то в большом обществе офицеров, не стесняясь присутствия Редькина, он начал передавать в обидной для последнего форме случай одного из его «мордобойств».

Редькин вспылил.

— Вы, поручик Солнцев, — вместо обычного «Вовы», резким начальствующим тоном заявил он, — занимаетесь сочинением сплетен про своего ротного командира и роту. Это непорядочно и не офицерское дело.

Фраза была брошена по-редькински, грубо и резко.

Все притихли. Я посмотрел на Солнцева. Он немного побледнел, как-то весь подтянулся, и никто не узнал его голоса и не ожидал от него такого решительного сухого тона, каким он ответил Редькину.

— Понятие о порядочности, г. капитан, очевидно, вещь условная. У нас в училище был преподаватель законоведения, почтенный полковник, которого, конечно, нельзя считать менее офицером, чем вас. Так вот он нам на лекциях внушал, что бить солдат так же позорно, как бить малых детей и женщин, т.-е. людей, одинаково не могущих ответить вам тем же. Игра без риска. По мнению этого не менее вас старого офицера, бить солдат не только недостойно офицера, но и порядочного человека вообще.

Атмосфера сгустилась. Такие столкновения в офицерской среде имели часто очень тяжелые последствия, а тут еще, к тому же, между ссорящимися были служебно-подчиненные отношения. Симпатии большинства были, видимо, на стороне Солнцева, и взгляды присутствовавших начали чаще и чаще останавливаться на мне. Я случайно оказался старшим, а это положение обязывало: я должен был попытаться помирить ссорящихся или оформить ссору и вообще так или иначе на нее реагировать. В данном случае мое положение облегчалось тем, что Вова, высказав все, что у него накипело, сразу успокоился, отошел в дальний угол комнаты и стал за стулом одного из играющих в карты с самым беспечным и миролюбивым видом, а растерявшийся Редькин, очевидно, не знал, как ему держать себя. Я воспользовался этим, отвел его в сторону, и скоро инцидент был исчерпан.

— Что вижу! — с пафосом заговорил Вова, все еще продолжая щуриться от яркого света. — Коньяк нашей лучшей дальневосточной марки, любимец публики «семнадцатилетний». Петр Петрович, не хмурьтесь, взгляните, — подтолкнул он Редькина.

— Что делать, Вова, последнюю злодеи вытянули; как зеницу ока, берег; можно сказать — не коньяк, а кровь мою пьют, — ответил я печально.

— Разрешите и мне причаститься, — смиренным тоном запросил Солнцев: — тела вашего, право, не потребую, а вот этой сардиночкой обойдусь.

— Вы, Вова, опять богохульничаете, — ворчливо, но без злобы заметил Редькин, усаживаясь на предложенное ему место.

— Понимаю вашу тяжелую обязанность отца командира следить и пещись о нравственности такого беспутного сына, как я, — ответил Солнцев, принимая от Малкина налитую ему рюмку коньяку.

Редькин тоже не отказался от рюмки.

— А что, это правда, — обратился он к Михайлову, пережевывая кусок колбасы: — что вы завтра немецкие пулеметы ссаживать будете? Мне сейчас в роте говорили.

— Собираемся, — самодовольно ответил Михайлов: — пора им и честь знать.

— Да, знаете, давно пора. И настроение солдат поднимется. А то прямо хоть на работы не ходи. Главное — сознание беспомощности угнетает.

— А скажите, — оживился Михайлов: — как отнеслись ваши стрелки к этому известию?

— Ну, конечно, вопрос шкурный, — страшно заинтересовались, жалеют только, что это не в рабочую очередь нашей роты будет.

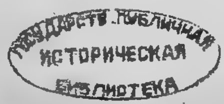
— А вот скажите еще такую вещь, — спросил Михайлов. — У нас сейчас тут до вас разговор был: Владимир Александрович уверяет, что солдаты, вместо благодарности за эту историю, нас с ним, — кивнул он на меня, — ругать будут: потому, дескать, что до такой простой вещи раньше додуматься не могли. Как вы думаете?

— Да думаю, что ни ругать ни благодарить тут не за что. Вы будете делать только то, что надо. Геннадий Николаевич в этом деле так же шкурно заинтересован: пуля, ведь, штаб-офицера от стрелка не отличает.

— Да вот, — перебил его Солнцев, — вам иллюстрированный ответ. Сейчас нас с Петром Петровичем окружили солдаты и передают эту новость, а унтер-офицер Сидоренко и говорит: «Ну, слава богу, значит, и до высшего начальства дошло, позаботились». А один стрелок и ляпнул: «Да, станет высшее начальство о твоей шкуре думать. Просто, говорят, здешний командир батальона с новым батарейным приятели, вот и договорились, — своя шкура-то всем дорога. А то бы чорта два, сдох бы от этих пулеметов».

— Да, да, — заторопился Редькин. — Кто это сказал? Нужно вздуть! Каким ведь тоном-то мерзавец сказал. Он около вас стоял, Вова. Ка́к фамилия, не Иващенко этот прохвост?





— Не разглядел, Петр Петрович, — неохотно ответил Солнцев, видимо, лукавя и избегая повторных требований ответа.

— Эх, Вова, — покачал головой Редькин: — когда-то из вас начальник выработается?

— Это интересно, — поспешил замять это маленькое недоразумение Михайлов. — Я, откровенно говоря, с пребыванием своим в запасе да околачиванием по тылам, совсем отвык и отстал от солдата.

— Да нет, — заговорил как бы в раздумьи Редькин: — солдат все тот же, только посмелей, посвободней стал. А то еще в японскую войну меня один удивил вопросом. «А что, говорит, это, ваше благородие, значит: как где мы корпусами да армиями воюем, нас бьют япошки, а как рота или полк ввяжутся, мы им накладем?» Заставил задуматься, сукин сын. И верно, вспоминаю свои бои, по отчетам, газетам, как раз так: как армия — бьют, маленькая стычка — мы берем. Вот и теперь то же, — сокрушенно добавил он: — не доверяют высшему начальству, со мной не откровенничают, а вот спросите Вову, ему сколько раз задавали вопросы об измене.

— О какой измене? — удивился искренно Михайлов.

— Да вот все генералам не верят, — улыбаясь пояснил Солнцев: — все наши неудачи и отступления не чем другим, как изменой, объясняют.

— Это они о Мясоедове слыхали и теперь на всех валят, — вставил Малкин.

— Недавно даже, — продолжал Солнцев, — о Радко-Дмитриеве у меня спрашивали. «Никак, говорят, не может быть, чтобы он чист был, когда Болгария против нас воюет».

— По-моему, — глубокомысленно заметил Редькин: — это они от тоски да от усталости болтают; еще не до того довоюемся. И офицеры-то не лучше стали, — покосился он на Солнцева.

Тот только ухмыльнулся и подтолкнул Малкина.

— А что, действительно в японскую войну наблюдалось такое явление? — обратился ко мне и Редькину Михайлов. — Что армии наши били, я знаю, а то, что мы всегда имели успех в малых боях, это для меня новость.

— Ну как же, — оживился Редькин. — Да вот вам пример — взятие Путиловской сопки. Вы на той войне не были, но, конечно, этот эпизод вам известен.

— Как же, как же, — успокоил его Михайлов: — и знаю, что главным действующим лицом в этом деле был ваш славный полк.

Лицо Редькина просияло. У него были две слабости: полк и семья, и только похвалой и разговорами о них можно было тронуть его сердце и завевать его симпатию. Михайлов, очевидно, понял, с кем имеет дело, и прилепил полку лестный эпитет «славный».

Но едва Редькин с видом человека, приготовившегося к долгому рассказу, начал свое повествование, вошел Николай и, обратясь к нему, доложил, что фельдфебель прислал сказать, что рота готова.

— Сейчас иду, сейчас иду, — заторопился Редькин, вскакивая и оставляя недопитый стакан чаю.

— Да посидите, кончите хоть рассказ-то,—попросил Михайлов.

Редькин не соглашался.

— Да, что вы, право, Петр Петрович, чудите,— вступился и я: — неужели не можете отпустить роту с подпрапорщиком, ведь им до резерва всего две версты пути.

— Он у вас, — добавил Малкин, — четвертого июля, когда вас ранило, роту в бой водил, а вы ему этого пустяка не доверяете.

— Может быть, вы, Вова, пойдете, — пошел на компромисс Редькин.

— О нет, Вову тоже не пустим, — заявил я: — да и вам же самому одному потом скучно будет лесом пробираться.

Редькин окончательно изменил себе и, хотя, очевидно, не без серьезной внутренней борьбы, сдался.

— Ну, ладно, — махнул он рукой тоном человека, готового прыгнуть в холодную воду.

— Передай, чтобы роту вели, я догоню, — сказал он Николаю, но, видя, что тот в это время переливал из согретого на плите чайника воду в самовар, сам вышел в первую комнату, чтобы передать свое распоряжение.

— Вот кстати и за новый самовар примемся, «почаюем», как говорят у нас в Сибири, — сказал я, принимаясь за хозяйские хлопоты.

Редькин вернулся и с видимым удовольствием принялся за повествование.

III.

Суть его рассказа, хорошо известная всем офицерам полка, была правдивой и фактической передачей популярного эпизода из русско-японской войны, взятия так называемой Путиловской сопки.[1] Этот чуть ли не единственный в ту кампанию случай безусловно удачного боя, во время которого нами были взяты две японских батареи, в свое время сильно нашумел и раздувался прессой.

Наш полк незадолго до этого эпизода принял полковник Сычевский. Военный юрист, нервный одинокий человек, он не мог усидеть в удобных тыловых судейских квартирах, которые в худшем случае заменялись отдельным купе мягкого вагона. К удивлению

[1] Как рассказ о взятии Путиловской сопки, так и история о спасении знамени есть описание действительных событий из жизни 19-го Сибирского стрелкового полка.

строевого, а главное своего судейского начальства, он запросился в строй.

Недолго прокомандовав батальоном в одном из соседних полков, он был назначен командиром нашего полка.

Был период общего отступления на мукденские позиции на реке Шахэ.

В одном месте новой нашей боевой линии, в широком участке долины Шахэ, по ту сторону реки, возвышались две связанные между собой седловиной сопки. Командуя над окружающей местностью, на много верст они были естественным ключом всего этого участка позиции.

Первоначально это обстоятельство было правильно оценено частями, на долю которых выпал этот участок, и сопки были нами заняты. Но, однако, распоряжением начальства, по бумажным, очевидно, планам намечавшего линию обороны, их приказали очистить. Японцы быстро использовали нашу ошибку и тотчас же их заняли. Поздно, но спохватились и наши. Приказано было сопки атаковать, занять и укрепиться.

Три раза в яркий солнечный день второго октября ходили наши части Новгородской дивизии в атаку и все три раза были отбиты.

В это время наша бригада, оторванная от дивизии, перебрасывалась с крайнего левого фланга на правый и к вечеру, на походе, подошла к линии атакуемых сопок.

Расположившись на ночлег, полк был свидетелем третьей в тот день неудачной атаки, стоившей ее участникам больших жертв.

Командир полка Сычевский, впервые, может быть, наблюдая так близко бой, не мог спокойно оставаться на месте. Он нервничал, то впивался в бинокль глазами, то порывисто его отрывал и обращался с возмущенными замечаниями к находившейся около него группе офицеров.

Имея в руках целый, не растрепанный хороший полк, ему так хотелось проверить и доказать правоту своих мнений, высказывавшихся им в горячих спорах в бытность его при штабах: «русский солдат не хуже японского, и все наши поражения идут от штабов и других, более глубоких причин существующего порядка». Это было его глубокое убеждение.

Около него стоял командир первой роты капитан Коченгин и подливал масла в огонь.

Высокого роста, с небольшой русой бородой, Коченгин был самый старый офицер полка по времени пребывания в нем. Коренной сибиряк, упрямый, спокойный и решительный человек, он знал и любил военное дело. Сычевский, новый человек в строю, учел это и часто прибегал к его советам. Теперь Коченгин доказывал, что утомленные тремя атаками японцы не будут так внимательны, и неожиданная ночная атака должна дать блестящие результаты. Остальные офицеры в большинстве поддерживали Коченгина.

Для Сычевского достаточно было этого толчка, это так совпадало с его желанием.

Но рядом было «непосредственное начальство», командир бригады генерал Путилов, — надо было иметь его санкцию.

Быстро, нервно написана записка Путилову с изложением положения и с просьбой разрешить атаку.

Посланный ординарец через час привез лаконический ответ: «Атаку не разрешаю».

— Где генерал? — раздраженно спросил ординарца Сычевский, видимо, желая сейчас же ехать для личных объяснений.

— Они отсюда версты за четыре в тылу, за маленькой сопочкой расположились.

— Что он там делает? — тем же тоном спросил Сычевский.

— Ничего не делают, ваше высокоблагородие, — доложил ординарец. — Отдыхать собираются, а сейчас выпивают, — улыбнулся он в усы.

Сычевского передернуло.

Через полчаса, подстрекаемый тем же Коченгиным, он послал Путилову записку:

«В 11 часов ночи полк атакует западную сопку. Жду ваших указаний», и одновременно обратился к командиру 2-го полка бригады с просьбой о поддержке атаки.

Ответ от Путилова привел всех в недоумение. Очевидно, пьяный генерал на записке Сычевского написал совершенно бессмысленную фразу: «Направление на луну».

К 11 часам полк вышел и построился в боевой порядок для ночной атаки, имея во главе первую роту с Коченгиным.

— Капитан Коченгин, ведите нас, — громко сказал Сычевский, и полк двинулся.

Приподнятое настроение, решимость офицеров заразили солдат, и полк был грозен этой решимостью.

Не звякнул ни один штык, когда, как один человек, полк скатился с полуторасаженного обрыва и по пояс в воде перешел реку Шахэ. Расчет наш оказался правильным. Утомленные и успокоенные дневным успехом, японцы были небрежны, ими не было выставлено сторожевого охранения и даже секретов.

Только в ста-полтораста шагах мы были обнаружены; открытый японцами беспорядочный огонь не был страшен ротам, уже взбиравшимся на сопку.

Головные роты ворвались для жуткого, звериного рукопашного боя. Но трудно было в этой борьбе устоять маленьким японцам против озверелых здоровых сибиряков. Часть рот, пройдя окопы, проникла в селение на противоположном, уже отлогом скате сопки. Тут, кроме большого количества пленных, были взяты две батареи и канцелярия штаба дивизии.

Победа была полная. К утру полк успел окопаться и крепко засесть на сопке.

Начальник дивизии с первой бригадой был далеко, с Путиловым, после его вчерашнего поведения, Сычевский не хотел считаться, почему и послал донесение о бое непосредственно командиру корпуса.

Путь ординарца, отправленного с донесением, проходил мимо «сопочки», за которой расположился Путилов. Проспавшийся генерал перехватил ординарца, отобрал донесение Сычевского и послал другое, от своего имени, в котором как инициативу боя, так и успех приписал себе.

Весть об этом удачном деле в тот же день докатилась до Петербурга. Подхватили газеты. Имя Путилова стало популярным. По «высочайшему» повелению сопка была названа его именем, и он по телеграфу был награжден георгиевским крестом.

Обо всем этом полк, занятый тяжелой боевой работой, узнал последним. Каково было его настроение в это время — понятно.

Сычевский выходил из себя, не подал руки Путилову, ездил во все штабы для восстановления истины, но все было тщетно. Нельзя было штабам сознаться в своей ошибке, а главное — отменить «высочайшие» милости, да и, должно быть, крепок был тот хвостик тетеньки, за который держался Путилов.

— Да, презанятная история, — протянул Михайлов, выслушав горячий рассказ Редькина.

— Неужели, — продолжал он, — так и нельзя было восстановить правду, неужели так крепки эти стены из протекций, интриг и подлости, что нас окружают? Ну, а Путилов, что же он-то?

— Путилов все же нарвался в конце концов, и опять-таки на нашем полку, на котором строил свою карьеру. Придется тебе уже и это рассказать для полноты картины, — сказал я Михайлову.

— Дело в том, что, как рассказывал тебе Петр Петрович, на сопке полк продолжал стоять вплоть до отступления всех армий от Мукдена. Наши дела на этом участке были великолепны, почему отступление из-за обхода правого фланга второй армии было для нас неожиданно.

Приказано было сняться незаметно ночью и двигаться к Телину. Наш полк уходил последним.

Путилов, несмотря на протесты командира полка, приказал полковое знамя отправить с вечера с особо назначенной для его прикрытия ротой. Распоряжение было нелепо, обидно для полка, тем более, что знамени не угрожала никакая опасность.

На другой день знаменная рота оказалась на линии отступающих обозов. В обозах, как это часто случается при отступлении, поднялась безосновательная паника. Путилов, видимо, сам поддался ей и, усилив свой отступательный порыв, догнал роту. Для охраны его «светлой личности» при нем находился взвод казаков под командой гвардейского поручика «гастролера», как их назы-

вала армия. Громкая фамилия, широкие и крепкие связи, вплоть до дружбы с каким-то великим князем, заставляли Путилова с особой предупредительностью относиться к этому поручику.

Что руководило Путиловым, действительно ли тут был акт малодушия, и он считал положение угрожающим, или в его пьяной голове созрел хитроумный план угодить высокопоставленному поручику, но только он приказал ротному командиру передать полковое знамя своему охранному взводу.

Ротный командир, старый офицер, как ни был воспитан в духе дисциплины, уважения и трепета перед генеральским мундиром, возмутился:

— Я не вижу опасности для знамени и не могу передать его, так как оно доверено мне полком.

Путилов не вынес такой неслыханной дерзости, он наговорил ротному командиру кучу неприятных вещей и закончил их угрозой тут же расстрелять за неисполнение приказаний.

— Я исполню ваше приказание, если оно будет письменное и в нем будет указано, что оно исполнено под угрозой расстрела,— ответил на все это командир роты.

Путилов дал требуемую бумажку.

— Не удивляйся и не сомневайся в действительности всего рассказанного, — обратился я к Михайлову, прочтя в его глазах удивление и сомнение. — Как это приказание, так и знаменитое «направление на луну» до сих пор, как исторические документы, хранятся в полку. Ну, слушай дальше.

Командир роты, как передал знамя, сейчас же свел роту с дороги и стал бивуаком, не сделав ни шагу вперед. К вечеру подошел полк, и он доложил о случившемся.

К неприятному известию о передаче знамени в полку отнеслись как к фарсу на почве малодушия Путилова. Но представь, как почувствовал себя полк, прочтя, спустя некоторое время, в газетах, что гвардии поручик такой-то за геройское спасение знамени нашего полка высочайше награждается орденом Георгия.

Не говорю уже об офицерах, но это обозлило и старых солдат. Начали искать способов восстановить истину, очистить от позора полк. Полетели рапорты, заявления, жалобы. Отвечают: ничего сделать нельзя, высочайшие пожалования не могут быть ошибочны. Однако Путилову это даром не прошло, и из начальников дивизии его сослали из армии, домашним порядком, командиром бригады на Русский остров во Владивосток.

Недолго носил крест и самозванный герой. Полк нашел верный и единственный, по тем временам, способ добраться до него. Через его полк, с изложением событий, поручику послали вызов на дуэль все наличные офицеры полка. Что там было, мы не знаем, но скоро были получены сведения, что поручик застрелился.

— Да, эта штучка попикантней взятия Путиловской сопки будет, — заметил Михайлов, когда я кончил свой рассказ.

— Возмутительная вещь, — согласился Редькин, — и как часто она повторяется в жизни, когда к ней присмотришься.

— Ну, я думаю, теперь таких вещей не может быть, не то время, — сказал Михайлов.

— Да, пойдите сейчас в Риге в кафе «Ате», взгляните, кем оно полно, кто там герои дня, — горячо заговорил Малкин: — много ли там встретишь нашего окопного брата, да и те где-нибудь по уголкам жмутся. Зато с каким шумом, звоном сабель, с блеском аксельбантов вваливаются туда околачивающиеся в тылу, упитанные маменькины сыночки, люди со связями, с «тетеньками» в Петрограде. Присмотритесь внимательно, это все явления того же порядка.

— Фазаны [1], — зло добавил Редькин. — Пороху не нюхали, а все в боевых наградах, меньше «Владимира» [2] ни у кого и не увидишь.

Редькину не везло с наградами, и мы знали, что это его больное место. Иметь «Владимира» было его мечтой, а его как нарочно все время представляли к очередным наградам—бесчисленным «Аннам» и «Станиславам».

Почему так случалось, трудно сказать. Он не был трусом и, безусловно, в высокой степени обладал тем качеством, которое принято называть храбростью. Но в его храбрости недоставало того, что делало ее обычно «яркой», в ней не было порыва, не было красоты момента. К бою он относился, как к тактическому учению роты. Среди офицеров даже ходил анекдот, что Редькин кому-то сознался, что провести с ротой бой для него гораздо легче, чем тактическое учение перед начальством. Там каждое его распоряжение критикуется и разбирается начальством, а тут начальство далеко. «Как хочу, так и хозяйничаю», будто бы уверял Редькин. Правда тут была только та, что он ужасно боялся начальства. Пять лет под ряд брал он на смотровом тактическом учении одинокий холмик, заброшенный в углу лагерного поля. Первый год его разнесли за то, что далеко выслал дозоры и очень медленно вел наступление: «убил наступательный порыв роты». Но второй год ругали за то, что дозоры «висели [3] на цепях, и он очень форсировал наступление, «упустил из виду действительную обстановку боя и огонь противника». И так из года в год не мог угодить Редькин капризному начальству.

— Ты бы взял роту да ночью срыл этот бугор к чорту, — смеялись ему товарищи, когда на пятом году ему особенно попало

---

[1] Так называли в армии штабных, блестящих с виду офицеров.

[2] Награды в те времена играли большую роль и имели длинный сложный статут их распределения. Они были многочисленны и имели ряд степеней. Самыми доступными, а потому и малоценными были «Станиславы» и «Анны». Более солидным считался «Владимир», о котором и мечтал Редькин.

[3] Техническое выражение, означающее — очень близко.

за «неуяснение духа полевого устава», как было сказано в приказе по дивизии.

— Что, Петр Петрович, и тебя прорвало? — с улыбкой глядя на Редькина, произнес Малкин. — Не нравятся порядочки-то?

— Не только не нравятся, а прямо противно, всякая энергия пропадает, — ответил горячо Редькин.

— Так, так, — с расстановкой заговорил Малкин: — а ты старайся больше, ходи один из всего полка в роту на вечернюю молитву «Боже, царя храни» петь, — еще не до того допоешься.

Редькин растерянно воззрился на Малкина.

— Это ты к чему? — в недоумении спросил он.

— Да все к тому же, к первоисточнику всех порядков.

Редькин, видимо, понял, вспыхнул и резко сказал:

— Ты не имеешь права путать светлую личность государя императора с этой окружающей его сволочью.

— А почему? — искусственно спокойно возразил Малкин, и я понял, что Володя закусил удила. — Ну, что касается доброты, которую, по-моему, правильней назвать слабостью и безволием, то ее, как видишь, хватает только на придворную клику, а у остальной России от этой доброты только загривки трещат. Не эта ли доброта виновата и в том, что вся Россия спорит, состоит ли царица в любовницах Гришки Распутина, или нет.

— Как тебе не стыдно повторять эту паршивую сплетню! — бледнея, почти закричал Редькин.

— Конечно, эта сплетня, по-моему, не имеет под собой почвы, — успокоительно ввязался в разговор Михайлов, желая смягчить сгустившуюся атмосферу.

— Дело не в самой сплетне, — возразил Малкин: — всякая баба может иметь любовника, в этом нет ничего невероятного, а ужасно то, что этот любовник, грязная грубая свинья, влияет на судьбу народа, что он нас с тобой и судьбу наших семей держит в своих грязных руках. Гнила та власть, которая допускает такие возможности.

— Понимаешь ли ты, до чего ты договорился? — с ужасом перебегая глазами с Малкина на меня и Михайлова, сказал Редькин. — Какую ты власть отвергаешь, чего хочешь?

— Отлично понимаю, — твердо ответил Малкин: — я хочу власти, для которой были бы все равны и дороги, власти, при которой не были бы возможны инциденты в роде истории с нашим знаменем, и, наконец, хочу власти, при которой «Владимир» висел бы у тебя на груди, а не у упитанных молодцов из «Ате», — неожиданно с улыбкой закончил Володя.

Улыбнулись и все мы, кроме Редькина. Он порывисто встал и, ничего не возражая, начал прощаться.

— Нет, пора, и так засиделся, — ответил он на мою просьбу посидеть еще.

Начал прощаться и Солнцев.

— По горячим следам, дорогой я тоже займусь пропагандой,— пропустив вперед Редькина, негромко сказал он, подмигивая Малкину.

— Ты, Володя, не переборщил ли, — заметил я Малкину после ухода Редькина: — ведь нельзя же так сразу человека огорошить.

— Да чорт его знает, я и сам не ожидал, что так прорвусь.

— Как бы он на вас не донес, — опасливо заметил Михайлов.

— Ну, что вы, — уверенно ответил Малкин, — Редькин старый офицер полка; но вот что он ночи две спать не будет, и голова у него распухнет, это верно, — засмеялся он.

— Однако и мне пора, а то совсем рассветает, — посмотрел он на окно: — придется тогда семь верст киселя, лесом, хлебать.

— Ну, а я уж у тебя до утра посплю, не тащиться же мне две версты на батарею, а потом опять сюда на пристрелку возвращаться, — сказал Михайлов.

Устроив Михайлова на своей кровати, я сам решил проводить недалеко Малкина.

Надев не спеша шинели, мы вышли.

В большой комнате было сонное царство, только заспанный дежурный телефонист, чтобы разогнать сон, вызывал какую-то роту. Ти-ти-ти — уныло пищал телефон: «Седьмая?» вяло спрашивал телефонист и на полученный, очевидно, вопрос, в чем дело, тем же тоном отвечал: «поверочка». Разгоняя сон, он поверял бдительность коллеги.

Мы посмотрели с Малкиным друг на друга и улыбнулись; эта надоевшая безнадежная «поверочка» всегда смешила и наводила одновременно уныние.

Сырой утренний воздух неприятно охватил нас при выходе из блиндажа. Восток чуть брезжил. Предрассветный ветерок слабо шевелил деревья, сбрасывая на нас редкие последние капли ночного дождя, застрявшие на ветках. На крыше землянки слышались шаги газового наблюдателя резервной роты и его осторожное покашливание.

На моем участке было тихо. Только где-то вдали по направлению к Шлоку, как отдаленный гром, слышался глухой рокот выстрелов одинокой беспокойной батареи; нашей или немецкой, — кто знает.

— Ну и жизнь проклятая, — произнес зябко Володя, поеживаясь от утреннего холода, и мы не спеша зашагали по знакомой тропинке.

IV.

— Ваше высокоблагородие, — слышу я сквозь сон осторожный голос Николая, — а ваше высокоблагородие!

— Ну, — привычно вскакиваю я и, сидя на кровати, протираю сонные глаза, как всегда, хватаясь за папиросу.

Война выработала привычку спать при всяком шуме, вплоть до грохота ближайших батарей, и в то же время научила моментально вскакивать от самого тихого непосредственного обращения к тебе.

— Командир полка к телефону просят, — видимо, сочувствуя моему несвоевременному и насильственному пробуждению, — сказал Николай.

Я взглянул на часы. Было десять часов утра, значит, я еще не успел не только выспаться, но даже как следует разоспаться. Привычка из ночи делать день и изо дня ночь сильно въелась. Ложились мы на передовке в восемь утра и вставали в три-четыре часа дня.

Штаб полка жил нормальной жизнью, но он знал наш распорядок и всегда с ним считался. Случилось что-нибудь экстраординарное. Не в резерв ли? — мелькнула радостная мысль и сейчас же сменилась тревожной: а, может быть, опять решено наступление.

Быстро сую ноги в сапоги, накидываю на белье шинель и иду в большую комнату к телефону.

— Сейчас командир полка подойдут, — доложил мне телефонист, передавая трубку и уступая свое место на скамейке.

— Геннадий Николаевич, вы? — услышал я голос полкового адъютанта поручика Суслова.

На мой утвердительный ответ он передал мне, что сейчас в штабе у них находится полковник из штаба армии, который приехал со специальной миссией осмотреть работы «Плаканенского узла».

— Рад гостям. И вы с командиром, конечно, приедете? — спросил я Суслова.

— Необходимо было бы; неловко даже, но тут такие обстоятельства. Впрочем, вы сами догадываетесь почему, — зло передал Суслов, очевидно, не имея возможности откровенничать по телефону.

Конечно, я догадался.

У командира полка полковника Павлова жила в обозе 2-го разряда его жена, властная, могучая женщина. Главное его, как мы называли, начальство. От нее он имел распоряжение не рисковать и избегать всякой опасности. Мой участок был в этом отношении не надежен, и с первого дня его занятия Павлов на нем не был. Теперь перед ним, кроме физической опасности, была и другая: обнаружить свое полное незнание и даже незнакомство с ответственным участком перед представителем штаба армии. Естественно, что Павлов должен был так или иначе от этого обхода уклониться.

— Вы не стесняйтесь, Геннадий Николаевич, втирайте очки, видно, что человек не за делом приехал, — передал мне Суслов свои наблюдения.

Кончив разговор с Сусловым, я тут же вызвал по телефону всех своих ротных командиров и предупредил их о приезде начальства.

Полковник Павлов был уже третий по счету, за время войны, командир полка. С двумя первыми командирами полку повезло. Это были незаурядные люди, с которыми считалось начальство, которые пользовались авторитетом в полку, умели приказать и, когда нужно, быть товарищами.

Павлов был полная им противоположность: он боялся начальства и раболепствовал перед ним. Он умел грубо накричать, но не приказать, бил солдат, чуждался офицеров. Авторитет его в полку был очень не высок. Дружная товарищеская жизнь штаба, возглавляемая старыми командирами, резко изменилась. Офицеры, прежде любившие посещать штаб, под тем или другим предлогом вырвавшись с передовки, теперь его определенно избегали. Павлов никогда не помещался в одной комнате с офицерами штаба, а всегда забивался в свой куток. Нет отдельной комнаты, так он хоть из походных палаток устроит себе каморку и отделит себя от остальных. В своей норе он изолированно обедал, пил свое положенное количество водки и съедал свои лакомства, до которых был большой охотник. Там же он занимался фотографией и, как это ни странно, женским рукоделием, вышиванием крестиками и гладью.

Заурядный армейский капитан с ограниченным общим и военным образованием дореформенных юнкерских училищ, он не блистал и талантами. Положение самого старшего капитана в полку, случайности войны и угодливость начальству выдвинули его к концу второго года войны на должность командира полка.

Не будучи по натуре трусом, теперь он уяснил себе одну истину: головокружительная случайная его карьера дошла до предела, о дальнейших выдвижениях мечтать нечего. Надо сохранить жизнь, чтобы самому и семье использовать в будущем все блага жизни, связанные с достигнутым служебным положением. Нужно было сохранить жизнь и удержаться на должности,—отсюда двойной страх: страх боя и позиции с ее случайностями и страх перед начальством. Сцилла и Харибда. Все силы и внимание были направлены в сторону этого лавирования, для этого не щадились интересы полка и отдельных личностей.

Адъютанта Суслова я знал еще почти мальчиком. Как сейчас помню свою встречу с ним. В 1900 году я, тоже еще юным подпоручиком, командовал конно-охотничьей командой. Созданная по опыту англо-бурской войны и по мысли нашего корпусного командира генерала Каульбарса, она должна была представлять собою новый вид оружия — «ездящую пехоту».

Я с командой должен был выступить из города Ка-юань-сяна для усиления конного отряда генерала Ренненкампфа. Предполагалась большая экспедиция в поиски скрывавшегося в горах десяти-

тысячного отряда китайского непокорного генерала Лю-тан-зыра. За день до выступления ко мне подошел незнакомый вольноопределящийся с просьбой принять его в команду. Совсем мальчик, с цыплячьим еще пушком на щеках, он был так трогателен и настойчив в своем желании, что я не мог отказать и даже взялся хлопотать за него перед его ротным командиром, который упрямился и не хотел отпускать его из роты.

Через несколько месяцев походно-боевой жизни этот юнец был уже унтер-офицером, имел георгиевский крест и, что самое главное, сумел добиться полного к себе уважения и признания своего авторитета среди стрелков команды, в большинстве случаев старых, запасных, бородатых сибиряков.

Сирота, сын крестьянина Амурской области, он воспитывался у дяди, разбогатевшего рыбопромышленника. Окончив реальное училище, он добровольцем поехал на войну. 16 лет провел он в полку, превратился из юноши-вольноопределяющегося в зрелого мужчину-офицера с большим знанием и опытом в военном деле.

Намечавшийся в вольноопределяющемся характер совершенно определился; труженик не за страх, а за совесть, он пользовался авторитетом не только среди товарищей и подчиненных, но имел по должности адъютанта большое влияние на всю серию командиров, прошедших за период его адъютантства. Строгий к себе, он был строг и к другим, за что многие его недолюбливали. Павлова он не переваривал, главное — за его страх перед женой и за неумение поддержать авторитет полка в глазах начальства. Всякий приезд «командирши» в полк, — а иногда она пробиралась и на позицию, — был для него пыткой.

— Вы поймите, Геннадий Николаевич, какой это разврат, — возмущался он: — ведь теперь каждый офицер и стрелок имеют право выписать сюда семью на совершенно законном основании — «по примеру командира полка».

Каждый день он собирался отказаться от своей должности, и только страх за полк и любовь к нему удерживали его от этого.

Я уже успел одеться, переговорить со своими ротными командирами и допивал приготовленный заботливым Николаем чай, когда в окно землянки, находящееся в уровень с землей, увидел ноги лошадей подъезжающей кавалькады.

В передней комнате послышался звон «малиновых шпор», и, нагибаясь в дверях, на пороге показался изящный полковник генерального штаба.

— А у вас здесь очень мило, — с не менее милой улыбкой заговорил он с порога. — Позвольте представиться, полковник... и он назвал свою фамилию, не удержавшуюся у меня в памяти. Я назвал себя, после чего он начал объяснять мне цель своего приезда.

С полчаса знакомил я его с планом своего участка, объяснял его особенности, докладывал о произведенных и производимых рабо-

тах. Полковник со всем соглашался и был, видимо, удовлетворен сделанным.

— Ну, пойдем, посмотрим, каково все это на месте выглядит,— весело сказал он, и мы вышли в сопровождении, для торжественности, двух стрелков из моей связи.

Я посмотрел на часы, было около двенадцати. Ежедневно в это время немцы выпускали в направлении ходов сообщения, по которым нам предстояло сейчас итти, несколько очередей; это проделывалось пунктуально за все время нашего пребывания на участке. Какой был смысл в этом обстреле, я не уяснил себе и до сих пор. Мне казалось просто, что аккуратный немецкий лейтенант, командир батареи, кончив, обычно, к этому времени свой утренний туалет и ранний завтрак, с сигарой во рту выходил на батарею и приказывал выпускать положенное ему суточное количество снарядов.[1]

Так или иначе, такой порядок нас устраивал, мы просто к этому времени прекращали свои хождения по этому месту, чувствуя себя зато в другое время в полной безопасности.

— Ваше высокоблагородие, сейчас двенадцать часов, — значительно сказал мне Николай, когда мы выходили из землянки.

Скоро мы втянулись в хода сообщений. Впереди шел полковник. Липкая грязь быстро залепила его изящные сапоги со шпорами, и не стало слышно их малинового звона. Но настроение его не падало, все тот же самовлюбленный вид и снисходительно-покровительственный тон. Говорить или не говорить ему о предстоящем обстреле? — колебался я. Мое сомнение разрешил шедший за мной стрелок связи.

— Ваше высокоблагородие, — догнав меня, не громко заговорил он: — сейчас, поди, немец стрелять будет, не испужались бы они, — кивнул он головой на впереди идущего полковника.

Я спохватился, что совершенно упустил из виду риск идущих с нами двух стрелков, и сейчас же сказал полковнику:

— Вероятно, немец сейчас откроет шрапнельный огонь, — не зайти ли нам переждать в блиндаж командира 6 роты, он тут сейчас будет шагах в двадцати пяти.

Сказал и обозлился.

— Вы хотите сказать, что так точно предугадываете намерение противника, до таких мелочей, — иронически возразил мне полковник с улыбкой, через плечо оглядываясь на меня.

Немец выручил, не дав мне даже ответить.

Две шрапнели с резким звоном разорвались недалеко от нас. Одна разорвалась настолько близко, что почувствовалось ее дыхание и несколько пуль ударило в насыпь хода сообщения.

---

[1] Такая систематическая по времени и цели стрельба наблюдалась и на других участках Рижского и других фронтов.

Момент ужаса быстро сменился выработанным привычным спокойствием, с оттенком бравады.

Я и стрелки, прижавшись к стенке хода, с положенной в таком настроении улыбкой посмотрели друг на друга. У полковника, к моему удовольствию, этот момент протянулся дольше, — видимо, справиться с собой ему было трудней.

Раскрыв зажмуренные инстинктивно глаза, он растерянно, с выражением тонущего человека взглянул на всех нас и увидел наши кажущиеся спокойными улыбки. Это подействовало на него отрезвляюще, он быстро взял себя в руки. С лица еще не сошла бледность, но уж голос был сравнительно спокоен, когда он торопливо спросил меня:

— Где же ваш хваленый блиндаж?

Мы как раз находились на разветвлении ходов сообщения, и я указал рукой на короткий, шагов в двадцати, тупик, упирающийся в блиндаж командира 6-й роты.

На полпути два следующие разрыва перевели наш шаг в крупную рысь, и мы мигом очутились у входа в землянку, на пороге которой стоял ее хозяин, командир 6-й роты капитан Гнездиковский.

— По-пожалуйте, — немного заикаясь, с улыбкой приветствовал он нас, давая дорогу полковнику, быстро нырнувшему в дверь.

Капитан Гнездиковский был человек больших способностей по части «втирания очков» начальству.

Вот и теперь его тупичок хода сообщения был, очевидно, только что убран: куда-то девалась грязь, он был сух и даже посыпан свежим песком, у порога землянки лежали свежие деревянные решетчатые маты.

Стол в его комнате был завален уставами, всевозможными брошюрами и наставлениями, какие-то планы и карты были аккуратно разложены на нем. Все говорило за глубокую заинтересованность хозяина службой, за его работоспособность и любовь к делу. Я привык видеть этот стол в несколько другом виде, и невольно улыбнулся слабости Гнездиковского.

— На кой чорт вы все это делаете? — задавал я ему не раз вопрос, так как иногда его слабость обслуживалась долгими часами работы всей роты.

— Во-первых, надо что-нибудь делать — все-таки развлечение, — невозмутимо отвечал он: — во-вторых, почему не порадовать начальство, а, в-третьих, Геннадий Николаевич, на всякий случай, — может быть, и пригодится.

В этом ответе он был весь. В то время, как офицерство обычно жило от жалованья до жалованья, как птицы небесные, без дум о завтрашнем дне, Гнездиковский был весь насыщен какой-то необыкновенной практичностью. Ко всякому вопросу он подходил только с этой точки зрения. Среди товарищей у него не было приятелей и друзей, но ладил он со всеми.

С ротой он тоже жил хорошо, претензии солдаты на тяжесть работы по «втиранию очков» никогда не заявляли; в этом отношении он умел подойти к роте, лично и наравне со всеми принимая участие в работах. Вообще, с солдатами жил хорошо, входил в их интересы и, очевидно, нравился им полным отсутствием офицерского гонора, а, может быть, его практичность и хозяйственность были им более понятны, чем барство и беспечность большинства офицеров.

— Ты, Ленька, и с солдатами заигрываешь из-за выгод, — не раз говорили ему товарищи.

Теперь этот Ленька изо всех сил «на всякий случай» угощал чаем полковника и лез из кожи, чтобы доказать перед ним свои военные способности и доблесть.

Выждав конца очередного обстрела, мы вышли из гостеприимной землянки и в сопровождении Гнездиковского отправились дальше. Был участок 6-й роты, и я предоставил ему удовольствие итти за полковником и непосредственно докладывать об особенностях своего ротного участка.

Ленька заливался соловьем, видя исключительное к себе отношение начальства.

Окоп, который вел к угловому, переднему пулеметному блиндажу, проходил по какой-то ненасытной трясине. Не успевали мы его выложить, как он уходил и погружался в болото, почему всегда был ниже необходимой высоты человеческого роста. Итти по нему приходилось в три погибели, так как немец за ним наблюдал и сейчас же открывал пулеметный огонь.

Я слышал, как Гнездиковский посвящал во все это полковника, убеждая его пригнуться, но того, видимо, опять обуял задор и недоверие. Когда мы все согнувшись двигались по окопу, его гордо поднятая голова отчетливо виднелась над окопом.

Гнездиковский беспомощно на меня оглянулся, предлагая всем видом повлиять на расхрабрившегося полковника.

— Пригнитесь, полковник, — почти закричал я, опять обозлившись: — ведь, вы не один идете.

Это было очень непочтительно, но возымело действие: он нагнулся и как раз кстати, так как немец не хотел простить этой дерзости и открыл пулеметный огонь. Полковник, как и первый раз, присел, прижался к брустверу и закрыл глаза.

— Чорт возьми, — сказал он, сейчас же взяв себя в руки: — однако у вас тут действительно беспокойно.

До пулеметного блиндажа мы добрались благополучно, а от обхода второй половины участка отказались.

На этом настаивал я, и полковник быстро согласился.

Когда мы сидели опять в моей землянке и пили чай, полковник был сама любезность.

— Пред вами, пред вашей жизнью надо преклониться, — с пафосом говорил он. — Я понимаю, можно решиться, можно

принести себя в жертву, но это будет миг, внезапность, порыв. Находиться же в ваших условиях, жить дни, недели, годы у смерти в лапах, чувствовать ее дыхание — это ужасно, это, действительно, истинное геройство.

Я скромно соглашался, что это действительно неприятно и тяжело.

— Но как вы прекрасно изучили все привычки и приемы противника, этот артиллерийский обстрел, этот пулеметный огонь, — не унимался полковник.

Я стал проникаться к себе уважением, и, пожалуй проникся бы им окончательно, если бы полковник тут же не открыл своих карт.

— Надеюсь, вы не откажете выдать мне удостоверение, что при осмотре вашего участка я находился под пулеметным и артиллерийским огнем противника, — сказал он просительно и какбудто чувствуя неловкость от своей просьбы.

— Не будет ли лучше, — немного смутившись за него, отвечал я, — получить вам это удостоверение от полка, наш командир его охотно подпишет. У меня нет даже гербовой печати, чтобы его скрепить.

— О, что вы, — любезно и опять уверенно-снисходительным тоном успокоил он меня: — удостоверение начальника Плаканенского узла будет действительней удостоверений двух командиров полков, и ваша батальонная печать меня совершенно удовлетворит.

Я взял со стола бланк и почти под диктовку полковника написал нужное ему удостоверение.

— Для нас, штабных людей, — улыбаясь и пряча бумажку, сказал он, — эти документы очень нужны.

Мы простились.

Через месяц я прочел о награждении полковника за этот подвиг боевым орденом Владимира 3-й степени с мечами.

Бедный Редькин, он не мог добиться 4-й степени. Если бы ему пропорционально, по числу принятых на себя артиллерийских снарядов и пуль, давали ордена, ему не хватило бы для этого его широкой могучей груди.

V.

Проводив полковника, мне не захотелось спускаться в свою землянку. День разгулялся окончательно. Близкое к закату солнце ярко, не по-осеннему, светило, золотя оставшиеся еще на деревьях пожелтевшие листья. Только упрямый корявый дубок не хотел сдаваться осени, его яркая темная зелень сочным пятном выделялась среди остальной золотой поросли, да две-три стройные рябинки красными мазками оживляли картину.

Я смотрел вслед уезжающему гостю и любовался им, как картинкой. Высокий, стройный, в изящном теплом сюртуке, перетянутый ремнем с наплечными портупеями, он красиво сидел на лошади с особой неуловимой кавалерийской небрежностью. Кавказская отделанная серебром шашка с одной стороны, маузер в новом кобуре с другой, бинокль, полевая сумка — делали его фигуру олицетворением современного воина. Весь он просился на картинку.

— С благополучным отбытием начальства, Геннадий Николаевич, — услышал я шутливый окрик и, обернувшись, увидел приближавшегося ко мне со стороны окопов командира 8 роты Свечина. Это был типичный офицер со всеми его достоинствами и недостатками: «в мирное время непригодный, а в военное незаменимый», как аттестовало его начальство. В бою он, как говорили стрелки, «лез на рожон». Даже в окопной войне он не мог усидеть покойно, постоянно выдумывая и предпринимая какие-нибудь поиски и разведки к окопам и в окопы противника.

Переведя взгляд с блестящего кавалериста на Свечина, я невольно улыбнулся, сравнивая эти две фигуры, так мало похожие друг на друга и так не соответствовавшие своим видом своему содержанию.

Свечин приближался, по обыкновению, с перевалочкой, его парусиновая рубашка, от долгого пребывания на плечах и окопной грязи ставшая «защитной», была перетянута узким черным ремешком. Вместо всякого оружия, через плечо на тесемке висела противогазовая маска Зелинского, в руках была толстая можжевеловая палка.

Он заметил мою улыбку.

— В чем дело, Геннадий Николаевич? — насторожившись, оглядывая себя, спросил он, принимая ее на свой счет.

Я посвятил его в свои наблюдения и в свои заключения по этому поводу.

— Все женщины, Геннадий Николаевич, — глубокомысленно ответил Свечин на мои слова.

— Как женщины, Петр Петрович? — удивился я.

— Ну, конечно, для кого же он такую красоту из себя делает, ведь не для нас с вами и не для них, — кивнул он головой на группу стрелков, стоявших недалеко.

— Ну, я думаю, причины тут несколько сложней, — не согласился я с ним.

— Бросьте, ничего сложного нет, везде бабы. Если разобраться поподробней, так, может, мы из-за них, проклятых, и войну-то всю эту ведем.

— Вам бы, Петр Петрович, жениться надо, — посоветовал я, — да остепениться; может, вы тогда со своего бы конька соскочили; у вас женщины из головы не выходят, от этого и вся ваша философия.

— Жениться? Ну, нет, с меня и чужих жен хватит, — с циничной улыбочкой ответил Свечин. — А около гостеприимной Риги этот вопрос вообще отпадает. Скорей бы в резерв, пора стряхнуться, — оживился он: — оденусь не хуже вашего полковника, а все для них же, Геннадий Николаевич, — и он, сложив пальцы правой руки, выразительно их поцеловал.

— А ну вас! — отмахнулся я от него. — Вы куда направились?

— Прошу разрешения сходить в штаб полка, вернусь с рабочей ротой, — полуофициальным тоном ответил мне Свечин.

— Все для женщин, все чрез женщин, — запел он, направляясь по тому же пути, где только недавно скрылась изящная фигура полковника.

У входа в землянку, недалеко от «дачной» скамейки, на которой я сидел, стояли: Николай, телефонист Сидоров и три стрелка связи.[1] Хорошая погода и мой пример выгнали их из землянки. По обыкновению, они с интересом прислушивались к нашему разговору и теперь со смехом, видимо, обсуждали его. Говорили они нарочно громко с видимой целью втянуть меня в разговор; то же желание было и в их взглядах, на меня бросаемых.

— Что у вас там за веселье? — пошел я им навстречу.

— Да больно занятно их благородие штабс-капитан Свечин говорили, — фыркнул Николай.

— А что, не согласен с ним?

— Да бабы, ведь, ваше высокоблагородие, поди такой же человек, как же это все из-за них может быть?

— А он говорит — не такой, — подзадорил я его.

— Это что он для них одевается-то, так это что же, — и они, поди, для нас прифасониваются, это правильно. Но чтоб война из-за баб была — это невозможно, — убежденно ответил Николай.

— Конечно, бабу распустить можно — продолжал он резонерствовать: — но только на нее, по-моему, ровно смотреть надо, как на человека, тогда и она блажить не будет. Все это от нас зависимо.

— Это ты тоже неправильно, — перебил его Агафонов, «связь 5-й роты», — по-деревенски говоришь. У нас, брат, в городе бабы особая статья, а у господ еще того больше.

— Так из-за бабы воюем, по-твоему? — презрительно задал ему вопрос Николай. — Небойсь, намедни по-другому рассказывал.

— А, и у тебя свои причины нашлись. Ну, рассказывай, — обратился я к Агафонову.

Он, видимо, мялся и не знал, что отвечать. Выручил Николай.

---

[1] Командир батальона имел при себе прикомандированных от каждой роты по одному стрелку для связи его с ротой. Обязанности «связи» знать всегда местонахождение своей роты и ротного командира для быстрой доставки распоряжений батальонного командира как в период затишья, так и во время боя.

— Да он, ваше высокоблагородие, говорил, что воюем мы не за Россию, а за купцов.

— За каких купцов? — заинтересовался я.

Агафонов смутился, но уж отступления ему не было.

— Да не за купцов, а за фабрикантов, ваше высокоблагородие; это не я говорю, а это вы меня намеднись в Ригу посылали, так мы там в саду у вокзала поезда ожидали. Много нас, солдат, было, так какой-то вольный с нами сидел и все это рассказывал: не вы, говорит, воюете и не царь ваш воюет, а фабриканты из-за базаров.

— Из-за рынков, — невольно сорвалось у меня.

— Вот-вот, из-за них, и он так говорил, — видимо, почувствовав под ногами почву, увереннней заговорил Агафонов. — И царь, говорит, ими откуплен и генералы ваши, а вас, говорит, обманывают.

— Ну, это с вами социалист какой-нибудь разговаривал, смущал вас, — с гордостью, подчеркивая мудреное для слушателей слово «социалист», ввязался в разговор телефонист Сидоров: — вам бы его задержать надо да коменданту представить, жулика.

— Вот-те задержать, а за что? Парень тихий, говорит дело, у него, брат, все гладко, одно из другого выходит. За что задерживать?

— А потому и задержать, что сам, дурак, за него попадешь.

— Да за что попадешь? Я что, я слышал только, а вот их высокоблагородие спрашивают, я и отвечаю.

Все как-то смутились и замолчали, молчал и я, озадаченный тем направлением, которое принял мой разговор со стрелками. Это было что-то новое, хотя далеко не неожиданное.

Прервал молчание Николай. На правах близкого человека, он первый решил задать мне вопрос на щекотливую тему.

— А что, ваше высокоблагородие, это правильно или нет?

— Что правильно?

— А что насчет купцов и этих фабрикантов, да и всего, вот и насчет царя?

Среда, в которой не только запрещалось говорить, но даже и думать о политике, сказалась. Я должен был что-то ответить, что-то объяснить, растолковать. Видимо, от меня этого ждали и ждали с напряженным вниманием. Однако, к стыду своему, я чувствовал себя почти таким же беспомощным и неподготовленным в этом вопросе, как и они. Будь это в начале войны, когда нас всех захлестнула волна шовинизма и патриотизма, когда смысл и цели войны казались такими ясными и определенными, я наговорил бы им много. Но три года ужасов, три года мотания перед лицом смерти, бои с их грудами трупов, вид изуродованных близких товарищей, все это уже давно умерило наш пыл.

Мысль: «зачем, для кого и для чего?» — все крепче и назойливей лезла в голову и требовала ответа. Я знал многое: имена египетских фараонов, начиная с Хеопса, были мне хорошо известны;

я знал властелинов средней истории и не ошибся бы годами «до» и «после» рождества Христова во времени их грабежей в малых и больших масштабах. Я умел извлекать квадратные и кубические корни, помнил еще интегральное и дифференциальное исчисления. Знал наизусть оду «Бог» Державина и Лермонтова «Мцыри». Я знал много. Но тех знаний, которые бы мне помогли в поисках ответа на стоящие передо мною вопросы: «зачем и для кого?» этих знаний мне не дали и не позволяли брать их самому.

«Бойся бога», «чти царя» — вот два краеугольных камня и они же камни преткновения, за которые я неминуемо должен был запнуться при желании сделать шаг в сторону.

Бога я перестал бояться с четырнадцати лет, при изучении «катехизиса веры», книги, вызвавшей первую критическую мысль, первое сомнение в истинах религии. Царя перестал чтить несколько позже. Все же смело итти дальше не было энергии: жизнь, обывательщина, мундир — засосали. Только теперь, когда жизнь шкурно, вплотную предъявила запросы, — начала всплывать и нащупываться истина.

Однако стрелкам надо было что-то отвечать. Что война не есть результат рыцарского заступничества за угнетенную младшую сестру Сербию, мне, конечно, было ясно. Что причина ее, как и всякой современной войны, экономическая борьба капитала, — я тоже знал. Но выступить в роли чуть ли не политического агитатора было непривычно и странно.

Плохо ли, хорошо ли, я начал делиться со стрелками своими сведениями и взглядами.

— Так, — неожиданно перебил меня все время молчавший стрелок Шуев, — значит, они на нашей кровушке барыши наживают. А что же начальство смотрит? — посмотрел он на меня строго.

Последнее прибавление было неожиданно и характерно для Шуева.

Я да и остальные стрелки улыбнулись.

— Это ты про какое начальство? — задал я ему вопрос.

— Да не про вас, вам тоже не сладко, а там большие генералы да министры разные.

— А вон и Лисицын жалует, — заявил Агафонов.

— Этот у нас все дела тонко понимает; он те растолкует, — обратился он шутливо к Шуеву.

Я посмотрел в указанном направлении и увидел вынырнувшую из-за деревьев офицерскую походную кухню. Она сделала свой обычный рейс, развозя обед по позициям. На козлах сидел небольшого роста, с курносым задорным и безусым лицом обозный Лисицын, рядом шагал бородатый повар.

С первых дней войны Лисицын бессменно сидел на этой кухне, доставляя обеды офицерам. Эта его обязанность, общительный

и веселый характер сделали его одним из самых популярных людей в полку. Всегда веселый, разговорчивый, хитрый парень, он быстро изучил всех офицеров полка. Его дружба с денщиками особенно помогала ему в этом, освещая всю подноготную каждого. Сообразно с этими сведениями у него для каждого был особый тон и выражение, трудно зачастую уловимое по оттенкам. С грубым, резким полковником Бальзаком это был старый, выдержанный солдат, умеющий «есть глазами начальство» и говорящий только казенными словами устава. С лихим капитаном Федоровым он был и сам лихой, забубенной головушкой. В разговоре с Солнцевым ясно чувствовался оттенок фамильярности.

Порядок раздачи обеда был всегда один и тот же. Кухня подъезжала к штабу батальона, оттуда по телефону звонили в роты, по этому вызову приходили с судками денщики и получали положенную порцию для своего принципала.

Приезда Лисицына обитатели моего блиндажа всегда ждали с нетерпением. Во-первых, свежий веселый человек, во-вторых, первоисточник всяких слухов и новостей. Вот и сегодня он привез их даже две. Первая, что через три дня полк идет в армейский, то есть в самый дальний и покойный резерв, а вторая... но к ней он, учитывая мое присутствие, подошел осторожно.

— Мне, ваше высокоблагородие, в штабе сейчас писаря приказ показывали...

— Ну, — подтолкнул я его, так как он сделал слишком большую паузу.

— У капитана Иванова денщика отобрали.

— Как отобрали? Заменили, что ли?

— Никак нет, совсем отняли и написано здорово: «За жестокое обращение отнимается и впредь запрещается иметь».

Слухи о жестоком обращении, «мордобойстве» Иванова давно вызывали к себе отрицательное отношение среди большинства офицеров. Это был какой-то странный тип, впервые встретившийся мне в жизни. Худой, небольшого роста, с полным отсутствием растительности на лице, несмотря на свои тридцать пять лет, он обладал колоссального размера носом, украшенным золотыми очками. Что-то хищное и отталкивающее было в его лице. Он не пил, не курил и не играл в карты, держался особняком, и никто не знал, чем он живет и что думает; в семье он, говорят, был такой же деспот, как и в роте. Что его поведение понесло заслуженную кару, было отрадно, но я недоумевал, каким образом Павлов, сам грешный в этом деле, мог отдать такой резкий, обращающий на себя внимание приказ, откуда он обрел в себе для этого гражданское мужество.

Но Лисицын был не такой человек, чтобы давать не исчерпывающие сведения. Он уже с кухней побывал в 1-м батальоне и знал все подробности. Оказалось, по его словам, что денщик, измученный зверским обращением Иванова, который, кроме побоев,

ставил его во время обстрела «под ружье» [1], не вытерпел и прибежал со слезами к командиру батальона, полковнику Кузьмичеву, с жалобой на Иванова.

— Ну, Кузьмичев, сами знаете, пуля, — сейчас же туда орлом. Как? Почему?

— Да, уж Кузьмичев, — вставил Агафонов, — хоть и сам иногда по роже съездит, а зря бить не будет и в обиду не даст.

— Ну, Иванов, — продолжал Лисицын, — туда-сюда. «Мерзавец, говорит, солдатишко, сладу с ним нет и все, говорит, врет вам, господин полковник». А тут подпоручик Фомин, — знаешь, такой круглолицый, — и говорит: «Переведите меня, полковник в другую роту, не могу этого издевательства видеть». Да и пошел, да и пошел докладывать. Кузьмичев как порох: «Отнимаю от вас, капитан Иванов, денщика и другого брать не позволяю». Это значит, брат, чисти себе сам сапоги, — с улыбкой пояснил он. — А Иванов тоже распалился. «Не имеете, говорит, права», побледнел, трясется весь, «превышение власти», говорит. А у Кузьмичева, — войдя в роль, с увлечением повествовал Лисицын, — прямо глаза на лоб вылезли. «Я, говорит, тебя, сукина сына, если не исполнишь, вот этой самой палкой исполосую».

Лисицын эффектно замолчал и посмотрел на присутствовавших.

Слушатели так и ахнули от удовольствия и удивления.

— А Кузьмичев выскочил да прямо в штаб. Жив, говорит, не буду, если у Иванова денщика совсем не отберете. Командир полка туда-сюда, скандал, говорит, подрыв дисциплины, но тут адъютант вмешался, поддержал: «никак, говорит, иначе нельзя, еще больший подрыв будет». Так и уговорили.

Зная героев только что переданного Лисициным рассказа, я ни на минуту не сомневался, что оно так и было. А вечером, кроме того, получил подтверждение. По телефону адъютант сообщил, что командир полка, решив, что Иванов у меня «исправится», переводит его в наш батальон, при этом предоставляет мне решить, кого из своих ротных командиров я уступлю для перевода в 1-й батальон. Я очень решительно отказался от этой комбинации и, когда раздосадованный командир лично подошел к телефону, я ему подтвердил свое решение сопротивляться его распоряжению всеми имеющимися в моем распоряжении средствами.

— Если вы, — говорил я ему, — находите невозможным оставить Иванова в 1-м батальоне, то ясно, что ему не место в других батальонах полка.

Пришлось даже погрозить, что в случае его перевода я к роте его не подпущу и подам об этом мотивированный рапорт начальнику дивизии.

[1] Вид дисциплинарного взыскания, отмененный революцией: стрелок надевал все походное снаряжение, брал винтовку на плечо и в положении «смирно» должен был стоять назначенное время до двух часов под ряд. Устав предусматривал замену суток ареста двумя часами под ружьем.

Вопрос был решен переводом Иванова из полка в резерв чинов одного из военных округов.

Начинало темнеть. С позиции поодиночке потянулись денщики с судками. Я спустился в землянку, — надо было хоть немного поспать до прихода рабочей роты.

Теперь работы, после того, как Михайлов отучил немецкие пулеметы нас беспокоить, спорились и приходили к концу.

Не зажигая лампы, я лежал на кровати, не спалось, и я невольно прислушивался к разговорам на другой половине.

Говорили об Иванове со злобой и злорадством, перебирали и других офицеров и, наконец, вернулись к старой теме о причинах войны. Больше других говорил Лисицын, и его слова перебивались смехом остальных. Вспомнили опять разговор Свечина о значении и влиянии женщины. И снова резкий отчетливый голос Агафонова отстаивал точку зрения Свечина.

— Да будет вам зубы скалить, — говорил Агафонов. — Я не говорю, что война из-за баб началась, а что из-за них приказы по корпусу писались, а то, может быть, еще выше, сам знаю.

— А ну-ка, ври, послушаем, — засмеялся Лисицын.

— А вот и слушай. «Действительную» я в Смоленске служил и попал к корпусному командиру в денщики, но не в первые, а так, на черную работу, но это все равно. За старшего у него был Яшка, лихой парень из лакеев, так нам он все рассказывал. Генерал был важный, из кирасиров, барон какой-то, все в желтой фуражке ходил. И была у него жена, не жена, а так в роде полюбовницы, фасонистая дама. Вот однажды, Яшка рассказывал, она пришла откуда-то и говорит генералу: «Встретила я сейчас денщика, несет младенца в пеленках на руках и другого за руку ведет. Совсем нянька, нет, говорит, никакого воинского виду».

— Здорово это она по-военному рапортует, — засмеялся кто-то из присутствовавших.

— Да, уж на что лучше, — согласился Агафонов.

— «Ну, так вот, говорит, как ты допускаешь такое безобразие?» Да так это серьезно говорит. Генерал сейчас же адъютанта и приказ по корпусу: ходить всем денщикам в вольной одежде. И заметь, и тут власть из рук выпустить не хочет: всем, говорит, при встречах с начальством снимать шапки.

— Эка штука, подумаешь, это и все? — разочарованно протянул Лисицын.

— А тебе мало? Видишь, из-за бабы что вышло. Да это еще не все, занятное-то дальше... У нас в полку был капитан Федоров, славный офицер, холостой, с начальством беспокойный. А у этого Федорова жил в денщиках мой земляк. Я ему и расскажи, как из-за бабы приказ произошел. А он своему барину обрассказал.

«Зачал ругаться капитан Федоров. «Я, говорит, ему покажу, как из-за шлюхи такие приказы писать, офицеров в разор вводить. Ежели офицер, который бедный, многосемейный, не может

няньки нанять, так где же он на вольную одежду денщику деньги достанет?». И что сделал ведь. Купил он для моего земляка вольную одежду, самую лучшую, господскую, грудь крахмальная, а на голову вот этакую шляпу трубой».

— Цилиндр, — пояснил Сидоров.

— Вот-вот, он самый. Одел он, значит, моего Ваську и стал господскому обхождению обучать. Ходить этак вальяжно, тросточкой помахивать и как по деликатному кланяться и шляпу снимать. С неделю его репертил, наконец говорит: ну, готово.

«А был у нас в Смоленске сад. Блоней какой-то назывался. Дорожка там круговая вокруг всего сада шла. Вот господа все по ней и гуляли, и генерал там часто со своей амишкой прогуливался. Привел, значит, капитан Ваську, по-господски одетого, туда, когда генерал гулял, сам в сторону сел, а ему велел навстречу генералу ходить и, как в приказе сказано, каждый раз шляпу снимать. Идет, значит, Васька барином, по-господски, встретился с генералом, как обучен был, шляпу снял, поклонился. Генерал таково-то вежливо руку к козырьку, поклон отдал. Обошли круг, опять встретились, Васька опять поклон, генерал опять козыряет. Уж на пятом разе проняло генерала, не вытерпел, подошел вместе с амишкой.

«Извините, говорит, мы с вами будто знакомы были, я, говорит, генерал барон Фу-ты-ну-ты», а Васька пожал ему допрежь руку, а потом и говорит: «А я денщик капитана Федорова буду, ваше превосходительство».

Громкий дружный хохот перебил рассказчика и не дал мне возможности дослушать конца повествования. Усталость взяла свое, и я забылся глубоким, крепким сном, которым можно спать только на позиции.

VI.

На 23-е декабря 1916 года было назначено большое наступление. Командующий армией Радко-Дмитриев решил прорвать растянутое расположение немцев на участке Тируль — Олай, имея конечной целью город Митаву.

До вчерашнего дня мы стояли на позициях восточнее Олая и железнодорожной линии Рига — Митава. Правей нас у самого Олая стоял первый полк нашей дивизии по обе стороны железнодорожной линии, а еще правей, у леса Лапс, — 4-й полк. В резерве был 2-й полк дивизии.

Участок 4-го полка как раз оказался левым флангом наступающей линии.

В ночь на 21-е дивизия произвела перегруппировку. Первый полк, как самый надежный, по мнению начальника дивизии, был снят с позиции и предназначался, совместно с 4-м полком, для удара. 2-й полк стал на его место. Наш полк, предназначенный

для ближайшей поддержки атакующих, сменил на позиции полк соседней дивизии. Сегодня ночью мы сменились, а к вечеру должны были выступить, чтобы к утру занять свое место в боевом расположении.

К 23-м часам кончили мы сдачу участка и только к трем добрались и расположились в резервных землянках заброшенной в лесу поляны. 3-й и 4-й батальоны со штабом полка стали от нас верстах в четырех у линии железной дороги.

Проспав, как убитый, несколько часов, я чувствовал тяжесть в голове от сырости и, должно быть, угара землянки, и теперь с удовольствием подставлял морозу свое лицо, освежая легкие, засоренные затхлостью помещения.

Поляна начала шевелиться. Откуда-то из-под снега выскакивали одиночные люди, щурили глаза от яркого света и горящего снега, потягивались, зевали и, в зависимости от темперамента, бегом или спокойно, с перевалкой шли по своим неотложным делам. Обозные и пулеметчики потянулись к коновязям, расположенным у опушки. В лесу затрещал валежник. И оттуда и туда все чаще заходили люди, таща на плечах и в охапках груды хвороста. Из всех снежных холмов тонкой, прямой, как окружающие ели, струей потянул дым. Тонкие прямые столбы дыма, расширяясь кверху, казались какими-то волнующимися сказочными колоннами, которые, как и все кругом, играли с солнцем и переливались всеми цветами радуги.

Несмотря на необычайность, вся обстановка производила впечатление мира, тишины и спокойствия. Не хотелось думать о бурях и предстоящих боях.

— Умываться надо, — перебил мои мысли Николай, появившись передо мной с чайником, куском мыла и полотенцем в руках.

Это была его манера говорить со мной в таких случаях. Он в одно время и спрашивал и отдавал распоряжение. Второго, пожалуй, было даже больше в его тоне.

— Ну, давай, — примирительно сказал я, глядя на его озабоченное лицо.

— Бекешу снять надо, — тем же безапелляционным тоном произнес он.

Поставив чайник, он помог мне раздеться, положил бекешу на снег, и началась процедура умывания.

Ничто так не освежает, как умывание на морозе, когда вода чуть-чуть не замерзает на вашем лице, когда лицо жжет и колет как иголками. А энергичное растирание после этого лица мохнатым полотенцем, когда начинаешь чувствовать живительную теплоту щек и всего лица, — уже истинное удовольствие.

— Чай готов, — сказал Николай, наблюдая за моими стараниями и скатывая водой кусок мыла.

— Это хорошо, — промычал я из-за полотенца. — А полковник Кузьмичев встал?

— Так точно, карты раскладывает, патиянс, что ли, какой, — с иронией ответил Николай, принимая от меня полотенце и ныряя со всем умывальным инвентарем в землянку.

Ночью мы решили с Кузьмичевым, командиром первого батальона, расположиться в одной землянке. Скученность расположения, одна ночь пребывания и, наконец, сокращение работы по установке телефонной связи говорили за это.

«Кузьмич», как звали его офицеры, был, по словам солдат, «орел». Блондин, хотя и уроженец Кавказа, он был строен, как природный горец. Лихо закрученные усы придавали задор его несколько покрасневшему и припухшему от поклонения Бахусу лицу. Кроме военной службы, своего полка, роты, а потом батальона, он не хотел знать ничего и ничем не интересовался. Рота его в мирное время была одной из лучших по строю и стрельбе, что особенно ценилось начальством. Но сам Кузьмич фавором его не пользовался. Карточная запойная игра, связанные с ней бесшабашные кутежи и, наконец, не всегда почтительная покорность начальству не нравились последнему. В карты он играл запоем, мог просидеть за ними двое-трое суток, забывая в это время все: службу, роту, ответственность. Бывали случаи, что он проигрывался в пух, до солдатского жалованья включительно. С тяжелой головой являлся он в роту и заявлял стрелкам: «С жалованьем как хотите: можете ждать — ждите, нет — заявляйте начальству, проиграл все, и свое и ваше». Подкупала ли солдат такая откровенность, или они знали, что не будут в проигрыше, но рота молчала, и никогда начальство, а были случаи, не могло с них вытянуть жалобы на Кузьмичева.

— Жалованье получали?

— Получали, — хором отвечала рота.

— А почему в книжках не записано? — следовал недоверчивый вопрос.

— Не можем знать, — слышался дружный ответ.

Но вот у Кузьмичева полоса везения, и рота сразу чувствует благополучие своего ротного: выплачены все недоимки, покупаются для роты всякие игры, гармошки, и выставляется очередное угощение.

Когда я спустился в землянку, Кузьмич с озабоченным видом без тужурки сидел за столом и раскладывал какой-то мудреный пасьянс.

Напившись чаю, мы оделись и пошли каждый по расположению своего батальона. Надо было отдать кое-какие распоряжения, кое-что поверить. В десять часов вечера полк должен был сняться, итти верст восемнадцать к лесу Лапс и стать для предстоящей атаки на свое место во второй линии окопов.

Когда я возвращался обратно, у входа в землянку стоял какой-то незнакомый офицер в кавалерийской форме, тут же стояла полковая двуколка, очевидно, доставившая его из штаба полка.

— Штаб-ротмистр Розен, — подошел он ко мне, — представляюсь по случаю назначения во вверенный вам батальон.

— Очень приятно, — протянул я ему руку, хотя его приезд ставил меня в несколько затруднительное положение. — Только, ротмистр, вы неудачно немножко прибыли, сегодня нам, очевидно, придется втянуться в бой.

— Я и просил перевода из кавалерии только затем, чтобы участвовать в настоящем пехотном бою, — с улыбкой ответил он, — и считаю, наоборот, именно удачно.

— Все это великолепно и, поверите, я искренно рад свежему человеку, но вот не знаю, куда вас девать. — И на его удивленный взгляд пояснил: — Видите ли, роты у меня все заняты офицерами моложе вас, но, согласитесь, в день боя менять знакомого с людьми и известного людям ротного командира невозможно. Ну, да пойдемте в землянку, погрейтесь, договоримся как-нибудь.

Но ротмистр яро рвался в бой и не шел ни на какие мои уговоры побыть несколько дней у меня в неофициальном резерве. Для меня, как измученного пехотинца, была совершенно непонятна такая настойчивость к концу третьего года войны, и я откровенно высказал это Розену.

Он вспыхнул и не так, очевидно, понявши мои слова, горячо заговорил:

— Поверьте, полковник, это не какая-нибудь грязная история заставила меня оставить любимый кавалерийский полк и просить перевода в пехоту. Меня любили товарищи и ценило начальство. Тяжелые личные семейные обстоятельства толкнули меня на эту авантюру.

Наступила моя очередь смутиться за свою излишнюю настойчивость, которая заставила человека говорить такие вещи. Я долго извинялся перед ротмистром и уверял его, что у меня и в мыслях не было ничего худого.

Приход Кузьмичева прервал нашу беседу. Ротмистр успокоился на назначении его на время предстоящего боя начальником гренадерской команды [1].

Подошло несколько офицеров. Подъехал с кухней Лисицын. Сели обедать.

— Вас, ваше высокоблагородие, к телефону полковой адъютант просит, — вошел в комнату дежурный телефонист, смотря по очереди и на меня и на Кузьмичева.

— Да что ты на обоих-то пялишься? Которого? — спросил Кузьмичев.

— Обоих просит, ваше высокоблагородие.

— Ну, иди ты, что ли, ближе к двери сидишь, — обратился ко мне Кузьмичев: — у одной трубки двоим нечего делать.

[1] Команда, вооруженная, кроме винтовок, значительным количеством ручных гранат, предназначенных для разрушения проволочной сети и поражения ими противника.

— В чем дело, Игнатий Васильевич? — задал я вопрос Суслову.

— Тут маленькая перемена вышла, — услышал я несколько взволнованный голос Суслова. — Нам придется вместо 1-го полка в атаку итти. Выступление наше, значит, не в десять, а в семь часов. Выходите с таким расчетом, чтобы в семь быть у нас.

— Что случилось, Игнатий Васильевич? Почему так?

— Это я вам потом объясню, по телефону нельзя, — совсем странным, не похожим на него тоном ответил Суслов.

— Ладно, я передам Кузьмичеву, так и сделаем, — ответил я, кончая разговор.

— Связь обоих батальонов, — обратился я к находившимся тут стрелкам связи: — сейчас же пошлите сюда ротных командиров.

— Мой тут сидит, — заявил торжественно Шуев.

— Ну, твой тут сидит, так и ты тут сиди, — ответил я Шуеву под общую улыбку остальных стрелков связи, быстро разбиравших свои винтовки и направлявшихся к выходу.

— В чем дело? — обратился ко мне Кузьмичев, отставляя от себя поконченную тарелку с супом.

Я рассказал.

— Ах, — и Кузьмичев сочно и совершенно нецензурно выругался. — Ведь, вот третью войну воюю, и всегда дьяволы все перепутают, то туда, то сюда швыряют. Ничего толком не сделают. Настроились на поддержку и ладно, а теперь перестраивайся-ка опять на первую волну. А впрочем, чорт с ними. В атаку, так в атаку, один конец.

Все старались сделать вид, что «чорт с ними», но знакомое виновато-растерянное выражение глаз выдавало нарождающееся настроение, переживание приближающейся неминуемо смертельной опасности Только ротмистр скользнул по мне взглядом. «А мне везет», ясно прочел я в нем.

Быстро собрались ротные командиры, недоумевающе выслушали они новость и собирались разойтись по ротам для отдачи нужных распоряжений.

— А вы вот что, ребятишки, у кого деньги для резерва припрятаны, вали сейчас же сюда, как дела в роте устроите. Часика два-три в картишки сметнемся. Ведь убьют, все равно все прахом пойдет.

— Да через три с половиной часа выступать будем, Кузьмич, когда тут в карты играть? — вступился я.

— А что им в роте-то делать, дай и стрелкам перед смертью без начальства подышать. А распоряжения все уже сделаны, только час переменить.

Кой-кто ответил согласием, и скоро в землянке начало раздаваться «даю», «углом» и другие технические выражения «шмоньки» [1].

---

[1] Шмонька—сокращенное «шмен-де-фер»—азартная карточная игра.

— Вот, если эту карту убьют — и меня завтра убьют, — заявил поручик Воронов с глубоким убеждением и верой в свои слова.

— Ну, и карты не дам, «фендра» этакая, — ответил ему Фирсов, державший банк: — ты мне заупокойной игры не устраивай. Смерть, голубчик, и жизнь в воле человека: захочешь жить, чорт тебя убьет, я вот хочу жить, и за три войны только раз ранен, и завтра жив буду; а распусти нюни, сразу влопаешься. Ну, давать, что ли, карту? — обратился он к Воронову.

— Давай.

— Без гаданий?

— Ну, давай без гаданий.

— То-то, «фендра», — заметил Фирсов, выбрасывая ему карты.

Воронов открыл «дамбле» и взял деньги.

— А я все-таки загадал, жив буду, — убежденно ответил Воронов.

— У, чорт, баба старая! — сунул ему в руки колоду Фирсов.

Время шло, надо было собираться к выступлению.

— Ну, Кузьмич, бросай карты, скоро выступать, только полчаса осталось.

— Бросать, так бросать, твоя взяла, — улыбнулся он мне.

— Баста, конец, служба выше жизни и даже карт, — сымпровизировал он поговорку.

Публика начала одеваться, расходиться и собираться к выступлению.

— Ваше высокоблагородие, — обратился к Фирсову его денщик: — вас командир полка к телефону просит.

Фирсов через минуту вернулся и зло плюнул на пол.

— Нет, извольте с этаким идиотом служить, с таким командиром полка итти в атаку. Понимаешь, подошел к телефону, а он спрашивает: «Выйдет ваш батальон в семь часов?»—«Так точно,— говорю, — адъютант передавал, уже собираемся». — «Да уверены ли вы, что он выйдет?» Чорт его знает, пьян он или дурака валяет? «Уверен, — смеюсь, — выйдет». — «А второй,—это про твой-то,— кивнул он мне, — тоже выйдет?» — «Вместе, — говорю, — выходим».—«Так вы уверены?» еще раз переспросил. Я и трубку бросил.

— Что там такое вышло? — недоумевающе вслух подумал я.

— Да ничего, наверно, просто идиот, — решил Кузьмичев, и мы занялись каждый своим делом перед предстоящим выступлением.

Обойдя построившиеся роты, поговорив с офицерами и стрелками о предстоящем деле, мы с Кузьмичем сели на лошадей и поехали впереди батальона. С полпути мы собирались оставить батальоны и поехать в штаб для получения дальнейших приказаний и для того, чтобы узнать причины неожиданной замены нами первого полка.

Не отошли мы и версты, как нас встретил конный ординарец штаба.

— Ты чего? — задал ему вопрос Кузьмичев.

— Так что командир полка приказали доехать до вас и узнать, идут ли батальоны.

Кузьмичев недоумевающе вздернул плечами и посмотрел на меня.

— Знаешь что, поедем-ка мы сами, предстанем перед его ясные очи, пусть успокоится.

Мы пустили лошадей рысью и скоро входили в дом, где помещался штаб полка. В первой, телефонной комнате было необычайно оживленно. Много народу, какие-то, очевидно, посторонние штабу стрелки с ружьями, несколько офицеров. Суслов «висел», как над ним смеялись, на телефоне. Увидя входящими меня и Кузьмичева, он, видимо, обрадовался и со словами: «Ну, подождите, пойду успокою командира», скрылся в следующей комнате.

Мы пошли за ним. Навстречу нам шел уже командир полка.

— Пришли? — задал он тревожный вопрос.

— Так точно, — ответил я. — Батальоны подходят в версте отсюда.

— Ну, слава богу, — и он, круто повернувшись, скрылся в своей комнате.

Терпение наше с Кузьмичевым истощилось. И, видя, что Суслов опять куда-то спешит, мы взяли его за руки и засыпали его рядом вопросов: в чем дело? что случилось? не заболел ли Павлов? . . Утомленный, издерганный событиями, Суслов передал нам следующее: когда первому полку нашей дивизии, стоящему по другую сторону шоссе, приказано было построиться для того, чтобы итти и занять с вечера позиции для предстоящей атаки, солдаты отказались исполнить это приказание, из землянок не вышли и объявили, что они отказываются наступать вообще и будут только обороняться. Уговоры и угрозы командира полка, блестящего генштабиста, оказались тщетными. Мало того, их представители прибегали в роты наших батальонов с предложением присоединиться к ним, но неудачно, так как в 16-й и 11-й ротах фельдфебеля их арестовали и доставили в штаб.[1] Суслов убежал, вызванный к телефону.

Я был поражен таким близким признаком грядущей революции и таким ее неожиданным выявлением так близко, казалось бы, в таком неподходящем месте — на фронте.

Кузьмичев был убит окончательно. Он, видимо, решительно отказывался уяснить и переварить случившееся. Ни слова не сказал он мне и Суслову. Отошел и сел в стороне, низко опустив голову.

---

[1] Описанный факт отказа выхода полка для участия в атаке имел место на Рижском фронте 22 декабря 1916 года. Дело идет о 17-м Сибирском стрелковом полке.

— Ну, вот, — вошел Суслов: — опять начальник штаба дивизии об ваших батальонах справлялся, тронулись ли вы с места. Успокоил, сказал, что пришли.

— В роде Павлова, значит, — заметил я, — ошалели.

— Ну, им это понятно, все козыри в нашем полку, второй и четвертый полк стоят на месте, об них беспокоиться нечего, а если и наш заупрямится, чего они, кажется, очень боятся, то уж делю бунтом дивизии пахнет, и полетит с полковым и дивизионное начальство.

— Да, — неопределенно, не поднимая головы, промычал Кузьмичев, — дела!

— А куда вы денете арестованных? — спросил он Суслова.

— Да вот сейчас приказано в штаб дивизии отправить. Туда уже для охраны их учебная команда вызвана.

— А не думаете ли вы, что 1-й полк их по дороге отбить попытается?

— Нет, судя по всему, этот эпизод не носит глубоко организованной формы, — уверенно ответил Суслов.

— Больше шкурный вопрос перед боем?

— Сволочь, — зло закончил Суслов.

— А вы не думаете, Игнатий Васильевич, что это первая ласточка? — серьезно спросил я его.

— Вам видней, — отвернулся он от меня, и в словах его я почувствовал какой-то намек.

VII.

Мороз сразу отпустил. Снег не скрипел под ногами, а упруго поддавался под их тяжестью. Облаков на небе почти не было, но откуда-то моросил мелкий реденький снежок. От луны было светло, но даль, скрытая какой-то мокрой изморозью, была не видна. Скучная и однообразная, болотистая, покрытая снегом кочковатая равнина надоедливо-однообразно торчала перед глазами. Шаги вяло идущих рот глухо и мертво стучали по деревянным настилам единственной дороги на позицию к лесу Лапс. Шли в порядке батальонных номеров.

Впереди, шагах в пятидесяти от меня, двигался первый батальон. В туманной лунной мути он казался какой-то общей массой, каким-то одним диковинным чудовищем, лениво ползущим в неведомую и невидимую даль. Шагах в десяти от меня такой же целой массой полз и дышал мой второй батальон. Ни привычного смеха, ни даже одиночных возгласов не было слышно в обеих группах. Все больше и больше охватывало чувство одиночества, несмотря на тысячи людей, среди которых я шел. Да и все они были одиноки в эти минуты. Их не было на том месте, по которому стучали их ноги. Для них не было настоящего, а только далекое

милое прошлое и неизбежное роковое смертельное близкое будущее.

Я хорошо знал эти минуты, самые жуткие, нудные и тяжелые минуты перед боем, когда при автоматической ходьбе у тебя нет возможности отвлечься, обмануть себя какой-нибудь, хотя бы ненужной работой, когда нервы еще не перегорели от ужасов непосредственно в лицо смотрящей смерти. Быстро циркулирующая кровь еще не затуманила мозги. А кажущаяся неизбежной смерть стоит все так же близко. Кто знал и видел бои, когда потери доходят до восьмидесяти процентов, у того не может быть даже искры надежды пережить грядущий бой. Все существо, весь здоровый организм протестует против насилия, против своего уничтожения. Казалось диковинным, что вся эта масса людей, объятая ужасом и протестом против непонятной смерти, смерти без понимания ее значения и смысла, вся эта масса все же безропотно идет, чем-то руководимая, идет и будет автоматически производить заученные приемы, направленные к уничтожению таких же объятых ужасом и непонимающих людей.

Сегодня мне было легче. Мысль отвлекалась неожиданным инцидентом 1-го полка. Хотелось разобраться и выяснить его истинный смысл и значение в грядущей, в чем нельзя было сомневаться, революции.

Когда мы проходили мимо расположения 1-го полка, стрелки стояли группами около своих землянок. В полном обоюдном молчании прошли наши стрелки мимо них, ни с той ни с другой стороны не было брошено ни одного призыва, ни одного упрека. А казалось бы таким естественным со стороны первого полка звать наш полк присоединиться к его требованиям, и, с другой стороны, можно было бы ждать от наших стрелков упреков за будущие ужасы предстоящей атаки, которые мы должны были нести за остающийся в тылу 1-й полк.

Очевидно, каждому была своя судьба и свое место в истории.

— А, может быть, не убьют? — мелькнула мысль, когда какая-то нудная знакомая тоска сдавила сердце. — Во всяком случае в твоем распоряжении еще несколько безусловных часов жизни: надо дойти, потом будет часа два артиллерийская подготовка.

А теория вероятности? Властно заговорил холодный рассудок. Двадцать процентов уцелеет, и ты почему-то надеешься попасть в их число. Из скольких боев выходил целым, думаешь, что это всегда будет? — зудил он безжалостно. — А что будет с семьей? Как она перенесет? Впрочем, всякое горе не долговечно. Как же все это будет без меня? Малыш, конечно, не поймет. «Папу убили». Нет, тоже поплачет, глядя на взрослых. И я чувствовал, как против воли улыбка, должно быть, жалкая улыбка, искривила мои губы.

— Геннадий Николаевич! — доносится до сознания оклик.

И опять перед глазами тоскливая долина и снег, упруго оседающий под ногами. Только сердце так же мучительно стонет, и тоска отчаянная овладела всем существом.

— Геннадий Николаевич! — окликнул меня командир 5-й роты, поручик Волокитин. — Начальник дивизии полк обгоняет.

За ним следом спешил ординарец, ведя в поводу свою и мою лошадь.

— Чорт знает, однако, я совсем распустился, — зло подумал я про себя, садясь на поданную ординарцем лошадь и отъезжая в сторону.

— Баста, беру себя в руки, — и я тряхнул головой, как бы сбрасывая создавшееся настроение.

Пятая и шестая рота уже прошли мимо меня.

«Подтянись», «подравняйсь», «дай ногу», слышались из строя вполголоса оклики офицеров и унтер-офицеров. В хвосте моего батальона показалась кавалькада начальника дивизии со свитой.

— Батальон смирно, равнение направо, господа офицеры! — звонко и резко, как на параде, раздалась моя команда среди томительной тишины поля.

— Здорово, молодцы! — прозвучал музыкальный фальцет начальника дивизии.

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — дружно ответили седьмая и восьмая роты, около которых раздался генеральский голос.

— Спасибо за молодецкую службу! — тем же тоном крикнул генерал.

— Рады стараться, ваше превосходительство! — послышался шаблонный ответ.

Не обычное без причины обращение, нас благодарят за то только, что мы вышли и не последовали примеру первого полка, в нас заискивали.

— А это вы, — обратился ко мне, подъезжая и протягивая мне руку, генерал. — Благодарю вас.

Это было уже совершенно лишнее.

— Здорово, 2-ой славный батальон! — крикнул он пятой и шестой ротам. — Спасибо за молодецкую службу!

Роты ответили на то и другое, и генерал скрылся, перегоняя первый батальон, откуда тоже стали раздаваться дружные «здравия желаем» и «рады стараться».

Я выехал вперед батальона и слез с лошади. В ротах почувствовалась жизнь, послышались голоса, отрывочные восклицания, смех. Проезд начальства, привычные команды, их исполнение как бы вернули людей к жизни настоящей минуты...

... Вдали зачернел лесной остров Лапса.

VIII.

Через полчаса, пройдя лес, мы вышли на его противоположную опушку. Тут находилась вторая линия окопов. Справа и слева дороги в большом холмистом увале, покрытом вековыми соснами, были нарыты хорошо приспособленные землянки. Крайняя к дороге с двумя большими окнами оказалась перевязочным пунктом. Две лампы освещали ее внутренность, и были видны наши врачи, успевшие уже там расположиться со своими инструментами и перевязочным материалом.

Полк остановился. Участок для нас был новым и незнакомым. Необходимо было разобраться, узнать свое точное место, познакомиться с выходами для атаки, с проходами в сети проволочных заграждений. Офицеры и стрелки, высланные для этой цели от 1-го полка еще днем, были поражены и смущены нашим приходом и происшедшим в их полку. Они были вялыми и неспособными проводниками, затрудняя и без того трудную ориентировку ночью.

Но вот ротные и взводные разобрались по планам в своих участках. В первую линию были назначены мой и Кузьмичева батальоны, 3-й и 4-й оставались во второй линии.

Забрав командиров рот, взводных, мы с Кузьмичем пошли на первую линию, чтобы на месте определить районы рот и указать их точные границы. Для лучшей ориентировки мы забрались на самую высокую точку участка, большой блиндаж, обычно занимаемый ротным командиром; в то же время этот блиндаж был специально приспособлен для больших штабов во время боя. Ряд накатов, прослоек и два ряда железо-бетонных плит делали его неуязвимым даже для шестидюймовых снарядов.

— Крепко сидят, — с усмешкой сказал Кузьмичев, постукивая ногой по вершине блиндажа.

А там уже действительно находился начальник дивизии со своим оперативным штабом, «бригада» в лице ее единственного представителя генерала З. и штаб полка.

Ротные с группой взводных скрылись по направлению к лесу, а мы с Кузьмичем одиноко торчали на верхушке блиндажа. Справа и слева тянулся обычный шаблон окопов. Впереди неясно намечалась ровная снежная долина, и где-то вдали, не ближе версты, чернела полоса леса, занятого немцами.

— Ни черта не видно, — произнес безнадежно Кузьмичев.

— Но воображаю, сколько у них там проволоки накручено, — ответил я, зная по горькому опыту, как укрепляет немец свои окопы, расположенные на опушке леса.

— А, поди, не пройти все это пространство под огнем, — в тон мне добавил Кузьмичев. — Главное — ориентировочных пунктов для атаки, кажется, нет, — добавил он с досадой.

— Надо ждать рассвета, сейчас все равно не разберешься. Утро вечера мудренее, — решили мы и, закурив, присели на очищенную от снега железо-бетонную плиту.

По направлению от нашего леса показались черные змеи рот. Они ползли, ширились и, наконец, под негромкие голоса команд и приказаний рассосались по окопам, заняв свои места.

Обойдя участок, я вошел в небольшую солдатскую землянку, которую мы облюбовали с Кузьмичем, лег на ворох грязной соломы, брошенной на нары, и сейчас же крепко уснул.

Кто меня разбудил, не знаю, но я сидел на нарах и смотрел на Кузьмича, с свирепым видом державшего у уха телефонную трубку.

— В чем дело? — задал я тревожный вопрос.

— Приказано начать атаку, — сквозь зубы бросил он, продолжая держать трубку.

Уж почти рассвело. Где-то далеко вправо слышался глухой несмолкаемый рокот артиллерийской стрельбы. Там, очевидно, начался бой, и шла свирепая артиллерийская подготовка. Я следил за лицом Кузьмичева, без возражений слушавшего получаемые по телефону приказания. Лицо его не предвещало ничего доброго. Злое, перекашиваемое иногда иронической улыбкой, оно говорило о чем-то тяжелом, несуразном, на нас надвигавшемся. Наконец он швырнул трубку.

— Сволочи, идиоты, без артиллерийской подготовки, средь бела дня, с верстовым подходом по ровному полю! — вытаращив на меня глаза, задыхаясь и пересыпая каждую фразу отборной руганью, почти закричал он на меня. — Прав был первый полк, разве можно воевать с этакими идиотами, — безнадежно махнув рукой, закончил он уже другим, сразу осевшим, утомленным тоном.

— Вот тебе и утро вечера мудренее, — с улыбкой посмотрел он на меня после небольшого молчания.

Опять тревожно позвонил телефон.

Я взял трубку.

— Начальник дивизии приказал немедленно начать наступление, — услышал я возбужденный голос штаб-офицера для поручений, занимавшего в этот день должность начальника штаба дивизии.

— Хорошо, — дал я машинально и неопределенно ответ.

— Торопят, — бросил я спрашивавшему меня глазами Кузьмичеву.

— Скажи, — неестественно спокойным тоном обратился он ко мне: — ты допускаешь хоть какую-нибудь, самую маленькую возможность успеха нашей атаки?

— Конечно, нет, нас до проволоки расстреляют, как баранов, — ответил я Кузьмичеву. — Очевидно, на нас выпала неблагодарная роль производства демонстрации.

— Демонстрация, демонстрация, — Кузьмич опять пустил отборную брань. — Так и ее умнее надо делать. Чего же мы рас-

света-то ждали, почему охотников, гренадер в темноте на проволоку не выслали?

Против этого возражать было нечего.

Но еще хуже казалось мне полное незнакомство с участком и впереди лежащей местностью. Кажущаяся под снегом ровною поляна была фактически трудно проходимым и только подмерзшим болотом, богатым всякими неожиданностями. Особенности незнакомой неприятельской позиции также должны были выявить для нас много неприятных сюрпризов.

— Что же, Кузьмич, пойдем, — сказал я, вставая и опоясываясь ремнем с надетым на него револьвером.

— Пойдем, — ответил он, тоже вставая. — Пойдем вести своих стрелков на бесцельный и бессмысленный убой... Как-то я им в рожу-то смотреть буду? Ты думаешь, они не видят ничего, не понимают? — остановился он на пороге.

— Мы с тобой смотреть можем, не в блиндажах остаемся, с ними идем, — хлопнул я его по плечу, и мы вышли.

Солнце еще не взошло, но, видимо, день собирался быть ясным и морозным. На участке тихо и казалось безлюдно. Кое-где лишь виднелись одиночные фигуры проходивших стрелков. Вся жизнь участка еще, видимо, была только под железо-бетонными плитами.

— Значит, условимся, Кузьмич, — начал я, двумя-тремя глубокими вздохами набрав в грудь свежего холодного воздуха. — Сейчас высылаем на проволоку гренадер, охотников, пускай пробираются, а за это время ориентируемся немножко, ну, а там видно будет. Так, что ли?

Кузьмичев вместо ответа обратился к стоявшей около нас связи, приказав позвать начальников гренадерской и охотничьих команд обоих батальонов. Через пять минут предо мной стояли начальник охотничьей команды, выслужившийся из фельдфебелей прапорщик Воложанинов и штабс-ротмистр Розен.

Объяснив им, как мог, обстановку и цель поставленной задачи, я прошел 20 шагов, отделяющих нас от первой линии, и приблизительно указал пункты атаки нашего батальона. Кузьмичев со своими был тут же, и мы сообща вырешили этот вопрос.

— Значит, вы, — обратился я к Розену, — справа от того бутра до группы кустов, а вы, Воложанинов, левее. Ну, валите!

Воложанинов козырнул и пошел к своим охотникам.

Розен мялся.

— В чем дело? — спросил я.

— Разрешите на пару слов. Вот тут, — протянул он мне небольшой полевой конверт, — письмо. Когда меня убьют, отправьте его пожалуйста по адресу. У меня даже нет денщика, чтобы поручить это сделать, — с горечью одиночества добавил он.

— Давайте, — торопливо сказал я, так как обстоятельства не давали свободной минуты. — Впрочем, почтальона вы выбрали

ненадежного, так как вероятность смерти висит и надо мной.

— Вы будете живы, — серьезно и пророчески сказал Розен, в упор глядя на меня.

Сознаюсь, теплая волна надежды колыхнула в груди от этих слов, от этой его уверенности.

— Я пишу жене, — продолжал Розен: — письмо не запечатал нарочно, пред отправкой вы прочтите.

— Чорт знает, — подумал я, обозлясь и морщась. — Сценка из неудачного батального рассказа какой-нибудь «Родины».

Он как-будто понял по лицу мою мысль.

— Это, может быть, смешно, сентиментально для настоящей минуты, вам трудно понять, — и, видимо, не в силах удержаться, он с горячностью ненормального человека кончил: — я пишу, чтобы она безмятежно наслаждалась своим новым счастьем, а я. . .

Он круто повернулся и почти бегом скрылся за траверсом.

Я все же успел заметить предательскую слезу на его бледном истерическом лице, это она, конечно, заставила его оборвать разговор на половине фразы.

— Влезем на дивизию, — сказал Кузьмичев: — оттуда видней.

— Ладно, да за ротными пошлем, на свободе договоримся.

«На дивизию», по выражению Кузьмичева, т.-е. на железобетонном блиндаже нам посидеть не дали. Из блиндажа пулей выкатился генерал З.

— Где командиры батальонов? Позвать ко мне командиров батальонов! — послышался его зычный голос.

Высокий, представительный, с брюшком генерал, с седыми густыми бровями, З. имел очень внушительный генеральский вид. С офицерами он был прост, держался за панибрата и никогда не отказывался от компании. Недостаток и крупный недостаток за ним, однако, числился и подрывал его авторитет среди офицеров. Он за глаза ругал все выше его стоявшее начальство. Не лишенный дешевого армейского остроумия, он был автором многочисленных анекдотов и летучих словечек, направленных по адресу начальства. Но одновременно с тем он ужасно боялся и лебезил перед тем же начальством.

Мы с Кузьмичевым, заявив криками о своем существовании, скатились с блиндажа и предстали перед грозные очи генерала.

— Почему не началось наступление? — накинулся он на нас чуть ли не с кулаками. — Неисполнение приказания! — гремел он. — Недопустимо!

— А вы нам укажите, в какую сторону атаку вести, — дерзко закричал Кузьмичев, всегда не любивший З. — «Туда», — махнул он рукой по направлению второй линии наших окопов, — «сюда», — махнул он по направлению к немцам, — а, может быть, «туда», — показал он по направлению фронта. — Привели ночью на незнакомое место и, чуть рассвело, — атакуйте, ни напра-

вления ни пункта атаки, ничего. — Кузьмичев опять полез на блиндаж.

— Да уж корпусный три раза звонил, настойчиво требует атаки, начальник дивизии волнуется, — примирительно, сбавив тон, заявил З.

— Передайте ввязался я, — что начинаем, уж разведчики-гренадеры сейчас выходят за линию.

— Вышли, — крикнул с блиндажа Кузьмичев. — Сейчас немцы огонь откроют, вы бы в блиндаж спустились, ваше превосходительство.

З. зло посмотрел на Кузьмичева и со словами: «ну, и слава богу», действительно, спустился в блиндаж.

Резко разорвался где-то впереди окопа первый снаряд. Вторая шрапнель хлопнула почти над блиндажем.

— Фу, чорт, — очутился около меня Кузьмичев, встряхивая головой: — думал, ударила. Нет, цел, — встряхнулся он, как после купанья собака.

На эту сцену из блиндажа показалась тонкая высокая фигура офицера генерального штаба, исполнявшего в этот день должность начальника штаба дивизии.

— Почему рота не выходит за линию? — торопливо взволнованно обратился он к нам.

Кузьмичев молчал, очевидно, переживая еще впечатление от снаряда.

— Гренадеры и разведчики вышли, бессмысленно сразу выбрасывать под огонь роты, — ответил я.

— Начальник дивизии приказал, потрудитесь не рассуждать, а исполнять боевые распоряжения, — нервно и дерзко наступил он на меня.

От злости я перестал слышать разрывы все чаще и чаще рвавшихся вокруг снарядов.

— А вы потрудитесь не кричать и не отдавать приказаний, а только их передавать! — закричал я, в свою очередь. — Не дети, учить нас нечего. Азбуку боя знаем и помним.

Полковник скрылся в землянке.

— Ну их к чорту, уйдем-ка подальше, а то они совсем голову задурят, — и Кузьмичев пошел по направлению к правому флангу участка.

Я тоже последовал его примеру.

— Геннадий Николаевич, — услышал я за собой просительный ласковый оклик. Не узнал голоса. Обернулся. Командир полка Павлов догоняет меня с молящим выражением глаз. — Выводите роты, Геннадий Николаевич, — он близко подошел ко мне и обнял за талию.

— Выводите, — повторил он вторично, засматривая любовно в глаза. — Вы хоть за окопы их выведите, хоть вид сделайте. —

Стало противно. Его объятия показались липкими. Я с отвращением вздернул плечами и освободился от них.

— Сейчас, господин полковник, мы идем в атаку.

— Так выведете? — с надеждой и недоверием, не обидевшись, а, может быть, не замечая моего жеста и тона, повторил он.

— Так точно, сейчас идем, — не смотря на него, ответил я.

— Связь первого батальона, беги, скажи полковнику Кузьмичеву, что я сейчас веду роты, — обратился я к связи.

Артиллерийский огонь увеличивался и шел во-всю. Снаряды засыпали окопы и все, что было впереди их. Наша слабая артиллерия участка тоже ввязалась в бой, и свист их снарядов над головой привычно радовал сердце.

Я вошел в окопы, где встретил собравшихся и направлявшихся ко мне ротных командиров.

— Ну, господа, начнем, — обратился я к ним.

— Но ведь разведчики только вышли. Артиллерия совсем не бьет по проволоке, — начал побледневший, но державший себя в руках Волокитин.

— Все это отлично знаю, но совершенно необходимо поддержать атаку центра и правого фланга, — ответил я, не смотря в глаза Волокитину. — Пятая и шестая рота, начинайте, а вы, господа, — обратился я к Алексееву и Свечину, — сейчас же за ними второй волной выкатывайтесь.

— Слушаюсь, — отвечал Алексеев, со своим обычно пьяным унылым видом.

— Есть! — выкликнул бодро, но нервно Свечин.

Несмотря на кажущееся различное отношение к переживаемому моменту, я видел во всех глазах одинаковое знакомое выражение какой-то виноватости, как-будто застенчивого стыда и просьбы. Чего стыдится, в чем чувствует себя виноватым человек и чего он просит в такие минуты? Не стыдится ли он общего безумия человечества, направляющего его, сильного, здорового, в лапы смерти? Не чувствует ли он себя виновным в соучастии в этом безумии, не просит ли он помощи, не ждет ли просветления у окружающих от этого кошмара? А, может-быть, он просто думает, что все видят привычно спрятанный ужас в его глазах, и только это делает его взгляд взглядом побитой, запуганной собаки.

— Можно итти? — деловито спросил Гнездиковский. Эта его деловитость в бою меня всегда удивляла. Он, очевидно, считал бой за выгодное, хорошо оплачиваемое наградами предприятие и относился к нему без энтузиазма, но спокойно и деловито.

— Валите, господа, начинайте, — ответил я всем на вопрос Гнездиковского.

Стрелки 5-ой и 6-ой роты занимали непосредственно окопы. 7-ая и 8-ая были в пяти шагах в приокопных землянках. Группами жались солдаты к передней стенке бруствера и смотрели при моем

проходе тем же тяжелым виноватым взглядом. Артиллерия противника все усиливала и усиливала свой огонь. Уже были убитые, слышались крики и стоны раненых. Гнездиковский торопливо бегал по окопам, отдавая распоряжения. Вот уже вижу его на бруствере. Стрелки его роты потянулись за ним. Огонь начал сосредоточиваться по окопам. Гул от разрывов, свист от осколков камней, комов земли оглушал, и нервы напряглись до той грани, когда уже пропадала мучительная предсмертная тоска, а чувствовался острый, как бы бодрящий ужас.

В открытом поле казалось легче. С невероятным проворством перебрасывались неуклюжие фигуры стрелков через бруствер, скатывались вниз и, низко пригнувшись, бежали, бежали, пока хватало легких. Но вот 5-ой и 6-ой роты уже нет в окопе. Вправо за окопами показались выходящие роты первого батальона. 7-ая и 8-ая, торопливо выбегая из-под призрачной защиты землянок, занимали уже частично разрушенные снарядами окопы.

Стало нестерпимо сидеть на месте. Удачно попавший снаряд повалил одинокое дерево, стоящее у окопа. Мелкие щепы и сучья осыпали градом меня и группу связи, находившуюся около меня. Казалось, все спасение впереди за окопами.

— Ну, наша очередь, — обратился я к связи и своим телефонистам.

— Погоди, ваше высокоблагородие, — быстро перебил меня Агафонов.

В двадцати шагах вправо гулко и резко трахнул крупный снаряд, снеся добрую половину бруствера.

— Вот теперь! — крикнул Агафонов и бросился туда. Я его понял и побежал за ним с остальными стрелками связи. Дело в том, что как-то недавно во время одной из бесед я доказывал своей постоянной аудитории из связи, телефонистов и Николая, что самое безопасное место от артиллерийского огня это воронка предыдущего снаряда. По теории вероятности, говорил я, два снаряда в одну точку попасть не могут. Агафонов запомнил, видимо, урок и теперь применил его к делу.

Пробежав шагов тридцать без чувств, без мысли, я обо что-то запнулся и упал в снег; как стадо садящихся на землю птиц, попадали за мной связь и телефонисты.

Впереди все поле было покрыто двигающимися и лежащими фигурами. Не было видно общих цепей. Отдельными небольшими группами двигались и отдыхали стрелки, но во всей картине чувствовался порыв вперед. Может быть, и толк будет, говорило чувство, но рассудок твердил другое. Я еще из окопа в бинокль рассмотрел глубокое проволочное заграждение не менее 3-х линий. Оно и теперь было цело. Наша артиллерия по своей малочисленности даже не била по нему, а только поддерживала атаку, обстреливая неприятельские окопы.

Но, однако, вперед. Еще одна перебежка, пока хватило сил и воздуха, и опять снег, приятно освежающий разгоряченное тело. Опять вперед, опять освежающий снег.

Гул — нет, не гул, а что-то такое не поддающееся описанию ударило в уши, в голову, прошло по всему телу, охватило жаром, над головой стон и жалобный вой. Закрыл глаза. Цел ли? Оглянулся. Бледные лица связи с виноватыми улыбками смотрят на меня. «Целы?» задаю вопрос. Глаза слезятся. Над головой чуть сзади что-то ухнуло с ярким длительным светом: светящийся или зажигательный снаряд. У немцев тоже, значит, переполох большой, соображаю я. Стреляют без разбору, чем под руку попадется.

Опять жмусь к земле, хочу в нее врасти, так как второй такой же жуткий взрыв раздается справа. Третьего не миновать в нас, отчетливо бьется в голове мысль. А теория вероятности? И я не помню и не знаю, как очутился у левой воронки; сполз одной ногой и задержался у края, почувствовав, как сапог быстро наполнился водой. Агафонов, раньше меня попавший туда, промочил себе ноги.

— Проклятое болото — и зимой толкни только, везде вода лезет, — выругался он.

«Останешься цел от снарядов, умрешь от простуды или отмерзнет нога, — соображаю я: — надо хоть воду вылить».

— Ну, ребята, стаскивай кто-нибудь сапог, — обратился я к стрелкам. Двое ухватили меня за ногу и лежа начали делать попытки стащить сапог. Он упрямо не поддавался. Стрелки пятились лежа и волокли меня по снегу. Догадался Агафонов; он подполз ко мне сзади, ухватил за плечи и начал тянуть в другую сторону. Сапог снят, вода вылита, но как надеть его на мокрый же носок. Кто-то выручил, из вещевого мешка, как сейчас помню, вынули синюю фланелевую рубаху, и я получил добрый ее кусок на портянку. Туго обернув ногу, я надел сапог и свободно вздохнул. Остальная рубаха пошла на портянки Агафонову.

Еще две-три тяжелые, по глубокому снегу, перебежки, и стало заметно уменьшение падающих около нас артиллерийских снарядов. Горизонт уже не закрывался сплошной стеной их разрывов. но зато слух отчетливо уловил резкую трескотню многих немецких пулеметов и взвизгивание пулеметных пуль. Все поле впереди усеяно, как лист липкой бумаги мухами, прильнувшими к земле людьми. Перебежки стали реже, группы в них меньше. Стало ясно, что удар пропадает. Таяли силы и физические и моральные. Кто тут убит, кто цел в этой массе валяющихся и не двигающихся тел, определить было трудно. То там, то здесь виднелись фигуры стрелков, встававших во весь рост и медленно, как бы в раздумьи идущих обратно к окопам. Кто прихрамывал, опираясь на винтовку, но и с целыми ногами люди не ускоряли шагу, — обычная и всегда удивлявшая меня картина боя. Раненый стрелок, могущий

двигаться, считает себя благополучно закончившим работу, с него сняты все требования и обязанности. Это, конечно, понятно, но он, кроме того, начинает чувствовать себя таким далеким от всего окружающего, что из него вытравляется чувство опасности. «Я не боец, никого не обижаю, и меня никто не смеет тронуть» — вот, должно быть, та бессознательная уверенность, которая охватывает и поглощает все его существо, боря рассудок и наглядную очевидность. Часто видно, как кто-нибудь из этих медленно идущих фигур, неестественно взмахнув руками, падает на снег с тем, чтобы никогда не подняться. Но это не останавливает других, да они и не видят окружающего. Они смотрят прямо перед собой, на оставленную ими линию окопов, и все кажутся поглощенными подсчетом шагов и времени, необходимых, чтобы пройти это расстояние.

— Телефон работает? — обратился я к телефонисту. Он подполз ко мне, протягивая ящик аппарата.

Быстро ответил Суслов. Еще бы, разговор из боя, из ада, всегда не менее страшного со стороны.

— Удар пропадает, Игнатий Васильевич, потерь много. Чего же третий и четвертый батальон задерживаются? Пора подтолкнуть. Хоть бы до проволоки дотащиться. Может, что и сделаем еще, — заговорил я с Сусловым, испытывая удовольствие связаться с внешним миром, с человеком, находящимся в сравнительно нормальных условиях.

— Сейчас, сейчас, Геннадий Николаевич, — услышал я успокаивающий его голос. — Давно отдано распоряжение, но никак подойти к первой линии не могут, немец страшный заградительный огонь по окопам сосредоточил.

Я посмотрел в ту сторону и, действительно, увидел сплошной стеной дымящуюся от разрывов линию наших окопов. И только сейчас обратил внимание на непрерывный свист и гул над головой от летящих туда неприятельских снарядов.

— А велики ли потери? — задал вопрос Суслов. И на этом разговор кончился. Аппарат отказался работать, где-то, очевидно, снарядом порвало линию. Телефонисты озабоченно и тревожно оглянулись. Кому-нибудь надо было ползти назад по линии для поверки и ремонта и потом по той же линии возвращаться обратно. Тяжелое и опасное дело. Когда человек идет в наступление, он имеет утешение в выборе остановок, может так или иначе менять и само направление, обманывая себя каким-нибудь пустяком, кочкой, камнем или даже пучком сухой травы. Телефонист, поверяющий линию, лишен и этого облегчающего обмана. Линия связывает его по рукам и ногам.

— Пошел, — вызвался молодой парень, всегда веселый и разбитной курносый блондин. И он, быстро нагнувшись, придерживая рукой кабель, побежал в тыл.

— А видели, ваше высокоблагородие? — спросил меня Агафонов, когда мы ткнулись в снег после очередной перебежки. — Гренадер-то кавалерист убитый лежит!

— Штабс-ротмистр? — переспросил я, совершенно не реагируя утомленными нервами на известие.

— Так точно, и чистый такой лежит, лицом вверх, — должно, пулей задело, — ответил Агафонов.

«Вы будете живы», опять облегченно вспомнились его слова.

— 3-й, 4-й пошли, — сказал кто-то из связи. Я оглянулся. Сквозь мглу огневой завесы видны были показавшиеся цепи 3-го и 4-го батальонов.

В бою всякая поддержка, как бы она ни была призрачна, поднимает настроение.

— Ну, и мы вперед, — поднялся я для перебежки. Бежали уже не спеша и много. Неожиданность. Пропала из глаз ясно видимая все время линия неприятельских окопов, и мы очутились как бы в мертвом пространстве. Сначала я не понял, в чем дело, но, пробежав уже совсем тихо, с напряжением шагов пятьдесят, догадался, что гладкая, казалось, снежная даль обманула, дорогу нам пересекал довольно высокий холмистый увал на всем протяжении нашего наступления. С этой его стороны лежала, растянувшись вдоль него, группа человек в пятьдесят 5-ой роты с Волокитиным. Не спеша поднялись мы к ним. Пулеметные и ружейные пули, казалось, сплошной массой летели над головами, все время поднимая неясную мглу снега и пыли по вершине увала.

— С приездом, — приветствовал меня Волокитин, не меняя позы. Стрелки, окружавшие его, улыбнулись улыбками нормальных, отдохнувших людей. Моя связь с довольными лицами растянулась тут же.

— Постойте, постойте, — остановил Волокитин мою попытку подняться к гребню и ориентироваться для дальнейшего.

— Да ведь надо же посмотреть, — неуверенно отвечал я, понимая всю рискованность этого.

— Подождите немножко, поживите еще две минутки, видите, я уже посмотрел, — и он отнял прижатый к лицу платок, весь залитый кровью. Пуля прошла под самым ухом, сделав приличный шрам, не задев, очевидно, кости.

Так вот откуда этот несвойственный ему тон фамильярности: он тоже чувствовал себя хорошо поработавшим и освобожденным от всяких строевых условностей.

— Да вы перевяжите рану-то, — ответил я.

— А впереди вы что-нибудь видели?

— Ерунда, Геннадий Николаевич, до окопов, оказывается, еще шагов четыреста, проволоки наворочено до чорта, и все целы и неприкосновенны, как шестнадцатилетняя застенчивая девица, — закончил он, раскрывая индивидуальный пакет для перевязки раны.

— А где же Бочаров? — задал я вопрос о его молодом жизнерадостном прапорщике, только вчера вернувшемся из отпуска.

— Убили, Геннадий Николаевич, в самом почти начале убит,— ответил Волокитин, морщась от боли под грубыми и неумелыми руками стрелка, перевязывавшего ему рану.

— Потерь столько, Геннадий Николаевич, что и сказать нельзя. Вот видите, что от роты осталось, да и тут не одни мои. Полная каша: и шестая рота есть, и из первого батальона. Мешанина.

— А с первым батальоном связались? — спросил я Волокитина.

— Так точно, вон она группа четвертой роты видна, — указал он в сторону.

— Ну, тут у вас, действительно, не выглянешь, пойду влево, может-быть, найду где место.

Не прошел я и двухсот шагов, как увидел идущего мне навстречу стрелка, так же, как и мы, изогнувшегося в три погибели и пробиравшегося под защитой увала. Он нес мне донесение от командира 6-ой роты.

— От капитана Гнездиковского? — спросил я.

— Никак нет, от прапорщика Короткова, так что командир роты ранены, их уже унесли.

На небольшом бланке полевой книжки читаю торопливые каракули Короткова:

«Командир роты ранен, в роте осталось не больше двадцати стрелков. Дошли до холмов, проволока у немцев цела, до нее триста шагов, люди замерзли. Жду распоряжений».

Как Волокитин, так и Коротков по обыкновению преувеличивали, они считали целыми только людей, группировавшихся непосредственно около них.

На своем пути от Волокитина я встретил несколько групп стрелков, скрытых от глаз того и другого складками местности. По опросе выяснилось, что тут была действительно мешанина из рот всего батальона. Но все же группы лежали через такие правильные промежутки, что получалось впечатление стройности и обдуманного порядка.

— Ваше высокоблагородие, — радостно крикнул Агафонов.— Вот тут можно посмотреть.

Действительно, складка местности, очевидно, не видимая немцами, совершенно безнаказанно давала возможность рассмотреть впереди лежащую местность. Все оказалось так, как говорил Волокитин и писал Коротков: триста-четыреста шагов до окопов и целые глубокие ряды проволочной сети. Я присел на землю и стал писать распоряжение командирам рот и начальнику охотничьей команды. Короткову я сообщил новость, что в роте его, по самому скромному подсчету, осталось не менее ста человек, и предлагал ему разобраться в людях и собрать роту, ожидая даль-

нейших распоряжений. То же приблизительно писал и остальным ротам. Командиру 7-ой роты приказал выделить лично мне известного унтер-офицера для сбора команды гренадер, распылившейся после смерти ее начальника. Вырвав листки из книжки, разложив их по конвертам, я разослал свою связь на поиски ротных командиров для передачи пакетов.

Под свист и гул летящих через головы снарядов и пуль я спокойно лежал и наслаждался сознанием глубокого отдыха. Дойдено до предела, сделано все, что можно, что в силах человеческих, итти сейчас дальше при создавшемся положении безумно. Только сейчас я заметил, что солнце, которое своим восходом освещало начало нашего наступления, спустилось к горизонту и бросало свои прощальные лучи на окружающую картину. Как прошел день, я не заметил. Небольшим коротким часом показался он мне. Я показал на заходящее солнце остававшемуся телефонисту.

— Как в сказке время-то прошло, ваше высокоблагородие, не было дня, как и не жили его, — понял и ответил он на мои мысли.

Второй телефонист в это время тоже ушел по линии, так как первый не возвращался, а связаться было надо.

Солнце еще не зашло, но уже взошедшая луна перехватывала его свет. Мороз крепчал. Поле, покрытое серыми мертвыми телами, весело светилось блесками снежинок. Немцы затихли, кончила и артиллерия, а за ней и пулеметы. Только редкие ружейные выстрелы нарушали тишину мертвого поля. Начала собираться связь с обратными донесениями, подошел Свечин и поручик пулеметного взвода, приданного батальону для атаки.

— Господин полковник, — начал пулеметчик, — я боюсь за пулеметы: пулеметная смесь паршивая, замерзла, у стрелков отваливаются руки от холода, работать не можем.

— А мы, — добавил Свечин, — и перекрыть не можем по той же причине. Люди, Геннадий Николаевич, смерзли, еле винтовки держат, а выстрелить никто не сумеет, пальцы не гнутся. Немцы бы сейчас, дураки, ударили, всех бы живьем забрали.

Ти-ти-ти — раздался неожиданно визг телефона и одновременно радостный возглас телефониста: «Исправили, ваше высокоблагородие!» И, не дожидаясь моего ответа, он закричал в трубку:

— Штаб полка, штаб полка! — На полученный, очевидно, вопрос радостно крикнул: — Второй батальон!

Я взял протянутую трубку.

— Кто у телефона? — слышу показавшийся родным и близким голос Суслова.

— Я, Игнатий Васильевич, я, — радостно кричу я.

— Да кто? — слышу ответ.

— Оглохли от обстрела, голоса не узнали, что ли? Чемоданов, — тем же тоном кричу я.

— Вы? — слышу удивленный вопрос. «Чемоданов», отвечает он кому-то в комнате.

— Получено приказание командира корпуса к 10-ти часам повторить атаку, — услышал я, к своему удивлению, в трубку. — Так что приготовьтесь, Геннадий Николаевич.

Я очень горячо и зло начал доказывать Суслову невозможность повторной атаки, описывая создавшееся положение: утомление замерзших стрелков, не евших и не спавших вторые сутки, а главное — нетронутые грозные проволочные заграждения противника.

— Сейчас я переговорю с начальником дивизии, — ответил Суслов.

— Начальник дивизии, — скоро сообщил мне он, — будет сейчас говорить по телефону с командиром корпуса, но на успех не рассчитывайте.

— Передайте еще раз начальнику дивизии, — сказал я: — что ничего из этой атаки не выйдет, пулеметы замерзли, Свечин и тот протестует, — сказал я Суслову могущий только лично его убедить довод. Пришлось все же отдавать предварительные распоряжения на случай атаки и ждать.

Часа через два позвонил телефон, и я услышал: «Отводите, Геннадий Николаевич, роты, только приказано частями и незаметно их вывести».

Связь весело побежала с моими распоряжениями к своим ротным командирам. Роты не спеша, редкими цепями начали отходить к окопам. Ни одного выстрела не сделали немцы по отходящим: не то они утомились сами, а, может-быть, отдавали дань уважения нашему безумному, бесцельному порыву. Вот пошла и последняя по порядку 5-ая рота. Тронулся и я со своей компанией. Подошел второй ушедший телефонист.

— Во-время исправил, ваше высокоблагородие? — спросил он оживленно.

— Да, да, спасибо. А где же Игначук? — задал я вопрос о первом ушедшем телефонисте.

— Убило, так на кабеле и лежит, обе ноги на-прочь оторвало. Дай-ка, брат, закурить, — тем же тоном обратился он к кому-то из стрелков.

Печальное поле проходили мы. Везде смерть в самых ужасных формах. Но нет отвращения, жути, нет чувства обычного уважения к смерти. Крышка гроба, выставленная в окне специального магазина, помнится, оставляла большее впечатление, чем этот ряд изуродованных, окровавленных трупов. Притупленные нервы отказывались совершенно реагировать на эту картину, и все существо было полно эгоистичной мыслью: «а ты жив».

В блиндаже начальство встретило меня очень приветливо, даже с оттенком овации. Причина этого и удивленный возглас Суслова по телефону тут же выяснились. Оказывается, раненый фельдфебель 7-ой роты заходил специально в штаб полка и рас-

сказал там, что видел, как меня убитого тащили за ноги к окопам два стрелка. Не было оснований ему не верить, и я ряд часов значился в списке убитых.

— Долго жить будете, — с улыбкой утешил меня начальник дивизии: — примета верная.

Подсчитали потери рот по спискам перевязочного пункта. В первом и втором батальонах они были почти равны и доходили до пятидесяти процентов. Из офицеров у меня осталось только два ротных командира и два младших офицера. Убитых, к счастью, только трое: Розен, Бючаров и Малявин. У Фирсова убитым оказался только один поручик Воронов. Карты его обманули.

Капризы и случайности войны: у нас в полку за этот бой оказалось 4 убитых и 18 раненых офицеров. В соседнем 4-ом полку, наступавшем в одинаковых условиях, убитых было 16 и 4 раненых. Вот и строй тут теорию вероятности.

В 3-м и 4-м батальонах, которые могли втянуться в бой около трех часов, потери оказались значительно меньше. Их оставили в окопах, нас послали в резерв в землянки среди леса Лапс, в теплые землянки с мягкой соломой на нарах. Только около двух часов ночи мы добрались до грязной, но такой мягкой и уютной соломы.

Наступило 24-е декабря 1916 года.

Не на всем фронте наступления так неудачно и бессмысленно прошел этот бой. В центре — латышские части, с ночи выславшие разведчиков и гренадер, сумели за ночь сделать проходы в проволочных заграждениях и неожиданной атакой на рассвете захватили две линии окопов противника. На дальнем правом фланге, южнее озера Бабит, где была сосредоточена вся наша артиллерия, проволока немцев была ею уничтожена. Там 6-й Сибирский корпус сумел овладеть правым берегом реки Аа и тремя линиями немецких окопов. Он развил свой успех значительно, захватив на другой день 82 неприятельских орудия и 800 человек пленных. А дальше вот что говорит об этом официальный отчет: «В дальнейшем атаки успеха не имели, и Ставка, боясь окончательного разгрома своих частей, прекращает наступление. Результат — продвижение всего на 2 — 3 версты и потеря 23.000 бойцов. Причины неудачи: неучет климатических и топографических условий, бессистемная артиллерийская подготовка, отсутствие разведки, связи и взаимоотношения отдельных родов войск». Коротко и ясно. Отсутствие разведки, топографические условия, климатические условия.

Составляя свой отчет в глуши далеких кабинетов по бумажным отделанным и выхоленным реляциям, составитель, может быть, и прав, но в реляции не упоминалось о полке, совершенно отказавшемся итти в эту атаку. Там не говорилось о командире

полка, жалобно упрашивавшем своего командира батальона вывести роты хотя бы только за бруствер. Не упоминалось и о протесте старых строевых офицеров, указывавших в небывалой форме начальству на всю нелепость их распоряжений. Не было принято во внимание и настроение масс солдат и офицеров, издерганных войной и потерявших в нее веру, не видевших ее смысла, а зачастую и осознавших преступность ее пред человечеством.

В отчете был обойден молчанием основной элемент тактики — «человек».

IX.

Наступил февраль 1917 года. За это время мы успели постоять в резерве, перебрасывались всем полком на автомобилях к озеру Бабит на поддержку 6-го корпуса, и теперь, по капризу судьбы, занимали позицию на столь памятном нам участке перед лесом Лапс. Грозный, по тяжелым воспоминаниям, участок для стоянки на нем оказался самым уютным и спокойным. Немцы далеко, землянки и блиндажи надежны.

Лес был полон жизни. Целые улицы землянок перерезывали его по всем направлениям. Тут были саперные части с великолепно оборудованными мастерскими, железнодорожные, наблюдавшие за конной железной дорогой, проходившей до самого леса. На противоположной опушке ютилась газовая химическая команда со своим колоссальным блиндажом, полным ядовитыми баллонами. Тут же располагался и наш первый опальный разоруженный полк. В тяжелых условиях, как отверженные, жили офицеры и стрелки этого полка, с утра до вечера работая на тяжелых работах в окопах и тылу. Около пятнадцати человек из них было расстреляно по приговору военно-полевого суда, а весь полк переведен на тяжелое положение рабочей штрафной команды.

Дивизия была обескровлена. Боевая работа выбывшего полка естественно ложилась на плечи остальных полков дивизии. Но ни одного упрека за это первому полку не слыхал я как со стороны стрелков, так и со стороны офицеров. Все, как бы сговорившись, будто игнорировали это событие.

В блиндаже, занимавшемся штабом дивизии во время боя, а теперь в резиденции Свечина, собралась компания офицеров. Этот блиндаж своими размерами, особо тщательной отделкой внутри производил впечатление хорошо оборудованной жилой комнаты и служил сборным пунктом для офицеров не одного только моего батальона, но и соседних. Он стал как бы клубом участка.

Война начала казаться надоевшим пошлым фарсом; чувствовалось, что три года звериной жизни с постоянной мыслью

о смерти, с постоянной мыслью об убийстве, — эти три года тяжело навалились на усталые плечи, смяли душу, вывернули ее. Кажущаяся в начале ясность, идейность войны стали меркнуть и заменились мучительными сомнениями и тщетными попытками выбраться из них.

А оттуда, где живут люди, из далекой, казалось, России, из Петрограда шли все более и более волнующие слухи. Дошедшая до нас, еще в ноябре месяце, казавшаяся безумной по своей дерзости речь Милюкова в Думе о царице и темных силах, ее окружающих, убийство, как естественное продолжение этой речи, Распутина, волнения рабочих, — все говорило за то, что назревает что-то большое, еще неясно всеми представляемое. И его, этого большого безликого, ждали все, считая все остальное и самую войну сейчас неважными, второстепенными вопросами. Недовольные речи офицерства о гнилости бюрократизма и придворной распутиновщине становились все резче и резче. Уже Редькин не вспыхивал протестом, когда ему приходилось быть свидетелем таких выпадов. Все видели, что армия с ее настоящим настроением неспособна к дальнейшей борьбе. Уверенность, что уход Николая II с его кликой от власти поднимет боеспособность армии, переродит страну и даст ей победу, заставляла тянуться к революции самых закоренелых ретроградов. Но не так мыслила солдатская низовая масса, и не те песни звучали в ее речах. Она ждала чего-то более ей понятного. Она еще меньше офицеров отдавала себе отчет в том, что надвигается, но ждала от него и ждала настойчиво и определенно окончания войны. Как это будет, как это все произойдет, во что выльется, она не думала, она только всем своим существом понимала, что так должно быть.

— Только воевать, ваше высокоблагородие, никак невозможно, — убежденным тоном заявил мне недавно Агафонов.

— Что так? — улыбнулся я на его тон.

— Никак невозможно: выдохся народ.

— Да чудак ты, — начал я пояснять ему казавшееся мне ясным положение вещей: — как же кончить войну? Ведь, это очень сложно, Агафонов. А союзники?.. Изменниками назовут: ведь, это значит немцам помогать.

— А пущай и союзники с немцами кончают, — упрямо возразил Агафонов.

Франтоватый Сидоров фыркнул:

— Тебя вот, дурака, не спросили, кончать, или нет.

— А ты, брат, не ширься, что в лаковых сапогах; тоже, видно, на ругань только и ума хватает, — пренебрежительно и едва взглянув на него, ответил Агафонов. — А все же, ваше высокоблагородие, как хочешь, нельзя воевать. Вот вы говорите: союзники там, англичане али французы, им, стало быть, есть антирес, ну, и пущай воюют, а нам никакого антиресу нет. Впустую все это.

А вчера в 6-ой роте, беседуя в окопах с группой солдат, услышал я еще пикантную новость.

— Правда ли, ваше высокоблагородие, — таинственно обратился ко мне молодой стрелок: — что Григория Распутина господа или князья какие убили за то, что он войну хотел кончить и государя с немцем помирить?

— Что вздор говоришь! — одернул его какой-то осторожный унтер-офицер.

— А ты думаешь, им, — кивнул он на меня, — воевать тоже охота?

Получалась уж какая-то нелепица. Гришка Распутин в роли народного печальника. Насколько мог, я снял с него этот незаслуженный ореол и указал на его истинную физиономию.

Сегодня в блиндаже собрание было больше обычного. Необыкновенно было и настроение его. Не было привычных карт. Не слышно было смеха и шуток. Героем дня был Вова Солнцев, только что вернувшийся из Петрограда, куда он ездил в недельный отпуск. Его брат, кажется, доктор, принадлежал к какой-то политической партии, не то эс-эров, не то эс-деков. Для собрания это было все равно, так как для большинства все эти партии казались тождественными и были известны под одной общей кличкой «революционеров», а иногда и более упрощенной солдатской — «забастовщиков». Солнцев был напихан политическими новостями и теперь горячо и смело делился ими с окружающими. Уж при нем 23-го февраля по всему городу ходили демонстрации рабочих с красными флагами и с криками: «долой войну, долой самодержавие!»

— Понимаете, — рассказывал он: — удержать их нельзя, все за них, я сам чуть не влез в кучу, да вот только форма помешала; захватывает, знаете ли.

— Успокоят, в пятом году немного нашумели, — сказал вечно озлобленный поручик Гусев. Это был грубый, тучный человек, произведенный из зауряд-прапорщиков, прасол, торговец Пензенской губернии, лет сорока пяти.

— Вы берете пятый год, это совсем не то, тогда была армия.

— Ну, и теперь армия, мало их в Петрограде напихано, — возразил Гусев.

— Да, ведь, армия-то не та, вы поймите, народ вырос за это время, вырос за годы войны.

— Все это вздор, никто не вырос, и накладут вашим забастовщикам, что надо, — упрямо ответил Гусев.

— Нет, вы хоть на примере возьмите, — выбивался Солнцев из сил: — наш полк, разве он тот же, что был во время хотя бы варшавских боев?

— Не вижу разницы, — уперся Гусев.

— Ну, вот мы, офицеры, ну вот, которые здесь сейчас?

— Я тот же, — отвечал Гусев: — не знаю, как другие.

— Плохо твое, брат, дело, если ты только стареешь, а ума не набираешься, — поддержал Вову Малкин.

— Стой, Вовка, не горячись, — перебил Малкина Гнездиковский. — Не с того конца с ним начал говорить. «Народ вырос», — передразнил он Солнцева: — он, брат, пока аршином не перемеряет, не поверит.

— Ты вот что мне скажи, — обратился он к Гусеву. — В пятом году все солдаты были кадровые и на роту в сто человек по три-четыре человека офицеров приходилось. Так? Солдаты были где? — и он, сжав кулак, объяснил, где были солдаты. — Теперь в запасных полках в роте на тысячу человек один прапорщик, много два болтается. Так?

— Ну, — неопределенно протянул Гусев.

— Теперь, — продолжал практический Ленька: — в пятом году солдат знал: не пойдет усмирять — его самого, — и Гнездиковский сделал символический жест вокруг шеи. — А теперь он другое знает. Усмирит рабочих и всех кричащих «долой войну», его на эту самую войну обязательно из Питера отправят. А это для него не лучше, — и Гнездиковский повторил свой жест кругом шеи.

Спор сделался общим и видно было, что Ленькины практические доводы больше повлияли на присутствовавших, чем все агитационные фразы Солнцева.

— Все это вздор, — вмешался в разговор и безапелляционным тоном заговорил капитан Майский, командовавший 4-м батальоном. Это был красивый, видный, с небольшой бородкой брюнет, большой барин. — Вздор, потому что воевать мы должны. Русский народ, поверьте, это понимает. Он устал, это правда, но в нем найдется достаточно мужества и патриотизма, чтобы побороть усталость.

— Да, но этот же народ и кричит «долой войну», — возразил Солнцев.

— Вы путаете народ, настоящий русский народ, — поучительным тоном возразил ему Майский, — с этой петроградской сволочью. Ведь, это же развращенное отрепье, без стыда, без чувств любви к родине, разве это народ? — Майский сделал пренебрежительную гримасу и пожал плечами. — Вы говорите, революция назревает. Это я знаю и чувствую и, может быть, я даже ее приветствую, как конец всякому шатанью, как начало новой, здоровой жизни страны. Поверьте, грядущая власть будет умней, она справится с безнравственными криками черни и выведет Россию с честью из создавшегося положения. — Майский говорил спокойно-снисходительно, чувствуя, что большая часть аудитории с ним солидарна. Он, видимо, сам восхищался своей смелостью, говоря такие рискованные, по тому времени, слова. Этот постоянный менторский тон — апломб по существу очень пустого и бес-

содержательного человека — всегда действовал раздражающе на знавших его людей. Малкин и сейчас уже кипел.

— Если вы сейчас, «может быть», сочувствуете и приветствуете «назревающую» революцию, — подчеркнул он: — то, может быть, вы скажете нам о форме того будущего «умного» правительства, которое заменит теперешнее?

— Да я думаю, — не желая замечать или действительно не замечая иронического тона Малкина, отвечал Майский: — что мы будем иметь республику по образцу французской или конституционную монархию на манер английской. Последнее вероятнее, так как больше соответствует всему укладу русского народа.

— Брось, Володя, не спорь, — вмешался Солнцев: — он, видишь, только вчера кадетских брошюр начитался — и по смыслу и по «умному» разговору видно.

Майский вспыхнул не то от дерзости поручика, не от того, что Вова попал в цель.

— Лучше повторять речи умных людей, чем вздор болтунов, и говорить по кадетским брошюрам, чем по прокламациям социалистов.

За дверью первой комнаты телефонистов и связи раздался хохот, дверь растворилась, и, комично отдавая общий поклон, в комнату вошел поручик Хмыров.

— «Двое сидели у ели и ели; если бы они имели то, что они ели».

— Брось, старо, — перебил его поручик Фомичев, постоянный его конкурент в области анекдотов и армейских острот.

Поручик Хмыров был так называемый офицер военного времени; окончив перед войной какое-то театральное училище, он мечтал о карьере «комика», но пока что пожинал военные лавры. «Потерянный мальчик» — звали его товарищи. Незлобивый, веселый человек, он только и жил, казалось, тем, чтобы развлекать и смешить окружающих. Один его подход к группе солдат вызывал радостные улыбки в ожидании чего-нибудь смешного. В выборе материала для этого Хмыров не стеснялся, и самые неприличные, грубые анекдоты чередовались у него с истинным юмором.

— Старо, крошка, — повторил ему еще раз из угла Фомичев, «мрачный комик», или «блондин до подлости», как называл его Хмыров — и не до глупостей теперь твоих.

— Вот как, старик Хмыров стал лишним? — с комичной серьезностью произнес Хмыров и, сейчас же переменив выражение физиономии на восторженно-насторожившуюся, продолжал: — Ба, да куда я попал! Заседание конвента, горячий питерский агитатор, неукротимый кровавый Вова, уважаемый капитан, именуемый в общежитии Володя, и всем известная, — козырнул он в мою сторону, — маститая фигура в штаб-офицерских погонах.

Спор между Майским с одной стороны и Солнцевым и Малкиным с другой принял специальный характер, не во всем понятный,

непривычный, а потому и утомительный для большинства собравшихся. Публика, может быть, поэтому дружно откликнулась на выходку Хмырова, дружно поддержав ее хохотом. Малкин погрозил ему кулаком.

— Я тебе покажу конвент, — сказал он, улыбаясь.

— Что? Боишься, подпольная сила? А я вот сейчас звон во все телефоны подниму и себе на поддержку позову Суслова, Редькина, Бальзака и Свечина... — и он под рифму скороговоркой начал называть фамилии офицеров, закончив этот список полковым священником и стариком чиновником-делопроизводителем по хозяйственной части в полку.

Вторичный взрыв общего смеха был ответом на импровизацию «потерянного мальчика».

Действительно, все перечисленные в его длинном списке офицеры принадлежали к числу лиц, упрямо не хотевших или не умевших, вроде Гусева, считаться с действительностью и живших в старой толстой коже российского обывателя.

Настал ряд нервных, томительных дней. После приезда Солнцева оборвалась связь с внешним миром. Газеты не шли. Замолкли всякие слухи. Прекратили отпуска и отлучки с позиции. Опускались руки. Те же окопы, те же блиндажи. Постарому беспокоят взрывы неприятельских снарядов, а войны нет. Она куда-то ушла, чем-то заслонилась. Все, что окружало, что делалось вокруг, казалось досадным, ненужным недоразумением. Привычно-машинально неслась служба, поверялись посты, заставы, елись разогретые котлеты, привезенные Лисицыным. А казалось — ничего не переменилось. Аккуратно дни сменяли бессонные длинные ночи, так же надоедливо скрипели за перегородкой телефоны. «Проверочка», слышался безнадежный, как завывание в трубе ветра, голос телефониста.

В блиндаже Свечина так же, а, может быть, еще больше, шумел позиционный клуб. Обычно допускаемые коммерческие «винты» и «преферансы» сменились азартными «штосом» и «железкой».

Послышались пьяные песни. «Пир во время чумы», сострил как-то Хмыров. Командир полка Павлов уехал в отпуск, и на его место, как старший, остался Кузьмичев. «Уже третий день, — жаловался мне на него по телефону Суслов, — во втором полку в карты играет, приказы ему туда для подписи посылаю». Один Суслов, как верный страж полка, работал, не покладая рук. Умный человек, он не мог не видеть окружающего, но упрямо не хотел его видеть; он чувствовал, что привычная почва ускользает из-под его ног, но не хотел мириться с этим. Приказы по полку, которые он составлял и которые, не читая, за карточным столом подписывал Кузьмичев, становились все требовательней и злей. Замечания, выговоры, угрозы все чаще и чаще заполняли

их страницы. Офицерство злилось и, на чем свет стоит, ругало Суслова.

— Человек что колбаса, сказал мой друг Кузьма Прутков, — успокаивал их Хмыров: — чем его начинишь, то он в себе и носит. А вы взрежьте-ка Суслова, у него в брюхе найдете все тома свода военных постановлений, все приказы и уставы с циркулярами военного ведомства со времени Петра Амьенского; и хороший он человек, а не живой. Операцию ему большую нужно сделать, чтобы нутро очистить.

Не находил себе места Вова. Кипучие дни Петрограда, живая атмосфера, в которой он, очевидно, находился, всколыхнули его душу. Оторванность, неизвестность, гниль настоящего окружающего угнетали его, как холодный пасмурный день в мае. Он горел и нервничал. Звонил по телефону Суслову с просьбой устроить ему поездку в Ригу, но, конечно, безрезультатно.

— Ведь там кровь льется, Геннадий Николаевич, — говорил он мне.

— Да не нервничайте, Вовочка, погодите, узнаем все, — пробовал я его успокоить.

— Кровью нас не удивишь, видали ее много, — добавил Малкин: — сами, кажется, «проливали», — ласково хлопнул он его по плечу.

— Проливали, правда, проливали, а за что? Ведь, мы думали — за тех, кто за нашей спиной стоит, кто за линией нашего фронта мирно живет и работает; а теперь они кровь льют, — как бы в раздумьи после небольшой паузы прибавил он. — За нас, чтобы, избавить нас от крови, избавить, спасти нас от окончательного озверения.

— Смертью смерть попра, — улыбнулся Малкин.

— Вот-вот, ты это хорошо сказал, — оживился Солнцев.

— А тебя, Вова, верно, что в Питере испортили, чудак ты стал какой-то, — укоризненно заговорил Малкин. — Неужели ты в самом деле думаешь, что революция и конец войне?

— А как же? — убежденно отвечал Солнцев. — Ведь, революцию делают те, кто не хочет войны, я сам слышал эти крики.

— Но революцию делают не они, а вся Россия, и мы с тобой в том числе, — улыбнулся Малкин. — Я думаю, что большинство отлично понимает, что войну кончить так просто, по нашему хотению, нельзя. Это так сложно. Да ты же сам понимаешь? Ну как кончить? Мы связаны, мы в руках у союзников.

— Ты говоришь то же, что говорил Майский, — с упреком ответил Солнцев.

— Пускай так, если ты не видишь разницы.

— Нет, прости, конечно, не то. А, впрочем, все это в действительности так сложно, тяжело, что я сам себя не понимаю.

Но слышались другие песни и другие мотивы.

— Успокоят эту сволочь, — шипели господа типа Гусева.

— Не позволю в своем присутствии говорить так о помазаннике божьем, — ударив по столу кулаком, вскочил пьяный Алексеев, вызывающе оглядывая присутствовавших.

Дело происходило в клубе-блиндаже, куда тоска и одиночество меня затащили. До пьяного слуха этого заурядного, недалекого человека дошла чья-то непочтительная фраза о царе. Из его рук выпали карты, полетела и разбилась со звоном стоявшая под рукой бутылка. Опять все взгляды присутствовавших, как на старшего, обратились на меня. Видимо, приходилось нарываться на пьяную дерзость. Выручил Хмыров.

— Сядь, Петя, не горячись, карт не бросай и бутылок не бей,— успокоительно-серьезно обратился он к Алексееву. — Помазанник божий, это, брат, всем известно, что туз козырный, его крыть нечем, понимаешь; с тобой, брат, никто и не спорит, нечем, так нечем.

— Козырный, говоришь? — как бы с недоверием, пьяным заплетающимся языком переспросил Алексеев. — Крыть нечем? Вот спасибо, люблю, поддержал товарища, — и он полез к Хмырову целоваться, опрокидывая скамейки и толкая окружающих.

X.

Наступал март. В Петрограде уже заседал думский Временный Комитет. Работал Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов, а мы, забытые и отторожденные, все еще жили под самодержавием. Наконец и нам телефонные провода принесли первые вести: государь отрекся от престола в пользу сына, регентом назначен Михаил. Тут же было предложено объяснить стрелкам всю сущность и важность совершившегося. Появились и случайные газеты от последних дней февраля. Объяснить стрелкам я лично отказался, о чем в частном разговоре и сказал своим ротным командирам. Получалась нелепица: о принудительном отречении Николая все знали, роль Александры была не тайной для самого бестолкового солдата. Изволь-ка объяснять, что сынок таких почтенных родителей есть именно тот человек, который даст России все блага, и изволь заставлять их радоваться.

— А Майский что-то с утра объяснял своим ротам, — сказал Свечин, — даже от меня было слышно, как «ура» кричали.

На другой день получилось новое уведомление, что отречение подписано в пользу Михаила.

— Одному расприсягаем, другому присягаем, — сострил Хмыров.—Ах, зачем было огород городить,—унылым тоном запел он.

Большинство офицеров, однако, известие это приняли с радостью. Михаил был достаточно популярен в армии, как опальный у царя и царицы, а это по тем временам много говорило в его пользу, и, кроме того, армия знала его по должности командира гусарского полка, где он держал себя очень просто и был хорошим товарищем.

Был назначен день для принятия присяги новому царю, но следующий день принес новую официальную версию: Михаил отказался от престола, предоставив Учредительному Собранию решить вопрос о новом образе правления. В Петрограде из бывших членов Государственной Думы образовано временное правительство, в руки которого и перешла вся власть впредь до созыва Учредительного Собрания.

Было очевидно, что идет не мирная замена лиц на престоле, а вплотную подошла грозная революция со всеми возможностями и неожиданностями своих выявлений. Свергнута самодержавная власть, с ней, естественно, должна пасть и всякая другая власть, имеющая ее своим первоисточником. Все взаимоотношения людей, связанных службой, понятиями начальствования и подчиненности, естественно, должны были быть пересмотрены и резко изменены, в зависимости от того пути, по которому пойдет революция. Особенно остро этот вопрос ставился в армии. Это не только понималось, но и чувствовалось всеми.

— У меня солдат прямо подменили, — жаловался на другой день Свечин.

— Пала дисциплина? — спросил я его.

— Нет, этого не скажу, а просто какие-то все нахохленные сделались, молчат, смотрят исподлобья. Ни черта не понимаю.

— Вот, вот, — подхватил Гнездиковский: — и мои тоже сдурели. Сами знаете мое отношение к солдатам: над моей простотой другие офицеры смеялись и в минус мне ее ставили; а теперь чувствую, что не доверяют ребята, будто я их обворовывать собираюсь. Прежде поговоришь, пошутишь, — рады, гогочут, а теперь вижу — избегают. Насторожились чего-то.

Вечером ко мне по обыкновению зашел Малкин и забежал не чувствовавший под собой ног Вова. Он положительно горел от всего пережитого, влетел, как сумасшедший, и, что было совершенно необычно в нашем обиходе, расцеловал меня и Малкина. В разговоре я передал жалобы своих ротных командиров на отчужденность стрелков.

— Неправда, клевета! — горячился Вова.

Но Малкин перебил его горячее заступничество.

— Нет дыма без огня, — начал он спокойно, — и ничего в этом удивительного нет. Свечин и Гнездиковский, конечно, правы, но только смотрят они на вопрос однобоко и не видят того, что сами виноваты в этом больше стрелков. Солдат чувствует, что революция внесет в его отношения с офицерами облегчение, а офицер определенно знает, что ему от многого придется отказаться, придется заново перестраивать свои взгляды на эти отношения, а для многих это ой-ой как тяжело будет. Да вот твоего Редькина взять. Ну-ка, заставь его переделаться и на солдата, как на равноправного гражданина, смотреть.

— «Гражданин»! Володя, какое ты слово сказал и как просто, хорошо сказал! — восторженно воскликнул Вова. — Дай, я тебя поцелую за это. Гражданин! Ты гражданин, я гражданин и вся наша рота, весь полк, вся Россия состоит из граждан. Понимаешь ли это, чувствуешь ли?

— Эх, Вовочка, какой вы еще мальчик и какой вы счастливый своей молодостью и своим порывом! — сказал я с завистью.

Пришло распоряжение выслать на послезавтра в Ригу выборных от полка: одного офицера и двух стрелков, как представителей для участия в параде по случаю свержения самодержавия и перехода власти в руки народа.

На другой день по выяснении результатов выборов оказалось, что от офицеров выбор пал на меня, а от солдат выбраны: первого батальона Афанасьев и стрелок моего батальона Гурьянов.

В назначенный день к десяти часам утра поезд, переполненный депутатами от частей, расположенных близ железнодорожной линии Рига — Митава, доставил нас в Ригу. Как глубокие захолустные провинциалы, шли мы по необычайно оживленным улицам этого большого и нарядного города.

Красные флаги на домах, группы демонстрантов с пением бурных непривычных революционных песен, с красными знаменами, волновали, радовали и даже как-то смущали нас, отставших от жизни и событий позиционных окопных отшельников.

Я посмотрел на своих спутников. Лица Афанасьева и Гурьянова не то, что сияли, а даже как-то лоснились от счастливого радостного возбуждения; глаза их с каким-то детским и смущенным любопытством перескакивали с предмета на предмет, от флагов на домах к проходящим группам демонстрантов.

— А у нас это, ваше высокоблагородие, на позиции сидят и ничего не знают, — обратился ко мне Гурьянов, очевидно, очень жалея оставшихся, ничего не знающих.

— Ну, как не знают, что ты! Кабы не знали, так и мы с тобой сюда не попали бы сегодня, — возразил я, не поняв его мысли.

— Так разве это знают, — приказание прочли, даже незаметно как-то. А по-настоящему, вот так, как мы сейчас, нутром, никто и не почувствует.

Гурьянов был прав: только тут, только в этой новой, свободной толпе, в этих группах, громко поющих и смело несущих над головами ярко-красные плакаты с лозунгами свободы, можно было нутром почувствовать величину событий и осознать их непреложность. Получаемые официально за номером казенные извещения, такие неуверенные, недоговоренные и неясные, несмотря на, казалось бы, их полный радости смысл, доходя до сознания, мало задевали душу.

К плацу около собора с гордо звучащими, еще вчера преступными, медными звуками марсельезы подходили принимавшие участие в параде войсковые части. Красные знамена и плакаты орга-

низаций, теперь собранных воедино, освещенные ярким солнцем, возбуждали своей необычностью и настойчиво твердили о случившемся.

В соборе что-то служили; но вот служба кончилась, и командующий XII армией генерал Радко-Дмитриев показался на высоких ступенях паперти.

— Смирно! — раздалась команда командующего парадом. И опять звуки «Марсельезы» огласили площадь.

Генерал обошел части, здороваясь и поздравляя их с совершившимся.

Опять ново и необычно: в группе лиц, сопровождающих генерала по фронту, видны не одни военные мундиры, нет, сегодня преобладают штатские костюмы самых разнообразных покроев—представителей различных организаций. Кончился обход. Сказаны новые, смелые, но все же казенные, соответствующие случаю речи. Среди особо стоявшей группы представителей частей фронта шныряло несколько офицеров и солдат, приглашавших делегатов сейчас же после парада направиться в один из театров для участия в общем собрании. Цель собрания — информация о текущем моменте и выборы исполнительных комитетов. Для офицеров местом сбора был назван Русский театр, а для солдат Большой.

Офицерская масса, мало подготовленная к общественной и тем более политической жизни, чувствовала, видимо, себя неуверенно в этом большом шумном собрании. Все невольно группировались по дивизиям и корпусам, чтобы избавиться от неловкости и новизны положения и не чувствовать одиночества. Только небольшая инициативная группа офицеров, состоявшая из людей, ранее работавших на политическом поприще, чувствовала себя спокойно и уверенно. Скоро овладев положением, они ввели собрание в нужные рамки. Быстро прошли выборы предложенных ими председателя и секретаря настоящего собрания. Начались приветственные речи и информационные доклады. Политическая линия будущего исполкома определилась тут же. Представители партии с.-д. доминировали на трибуне, как по количеству выступавших ораторов, так и по их силе. Холеные, выглаженные речи представителей партии к.-д. были сорваны выступавшими меньшевиками. Правых ораторов не было. Но среди присутствовавших явно намечались группы ультра-реакционного направления. Не смея громко нарушать общего настроения, они тем не менее небольшими разбросанными, но компактными компаниями, несмело, но настойчиво демонстрировали свое отрицательно-ироническое отношение к выступавшим. Не повезло, помню, представителю с.-р. в форме пехотного поручика.

— Я представитель партии социалистов-революционеров, — начал он свою речь.

Слово «революционеров», как красный цвет на быков, подействовало на правые группы, их терпение истощилось.

— Вон! долой! — послышались одиночные возгласы.

Оратор не смутился, но речь была смята и испорчена.

В виду малого знакомства собравшихся друг с другом и большой политической разношерстности было решено в исполком произвести выборы по дивизиям из числа присутствовавших. Я оказался выбранным. Президиум, по преимуществу из представителей активной группы, был выбран тут же и возглавлялся артиллерийским поручиком Кучиным.

Если память мне не изменяет, в состав его вошли, между прочим, капитан Егоров, командир латышского полка полковник Вацетис и командир кавалерийского полка полковник Родзянко. Вновь выбранным членам было предложено разъехаться по местам для ознакомления своих частей с текущим моментом и для организации комитетов частей. Через неделю было назначено первое заседание офицерского исполнительного комитета XII армии.

— Ты попал в исполкомщики? — услышал я при выходе разговор в группе офицеров.

— Нет, ну их всех с брехней.

— Напрасно, — возразил собеседник: — все-таки случай лишний раз с позиции в Ригу удрать.

Таково было настроение и отношение к своим общественным обязанностям многих участников этого первого свободного собрания.

В вагоне я встретился с Афанасьевым и Гурьяновым. На них тоже была возложена обязанность познакомить своих выборщиков со всем виденным и слышанным ими в Риге. Это обстоятельство сильно смущало обоих. Слишком много впечатлений, слишком много необычного и непривычного видели они сегодня. Новые речи, новые слова. Все значение революции они, видимо, глубоко чувствовали в душе и сердце, но еще не обработали головой. Афанасьев восторгался тем порядком, который был на этом собрании.

— И заметьте, ваше высокоблагородие, — часто прерывал он свой рассказ: — ни одного офицера.—Это обстоятельство его особенно радовало и казалось знаменательным. — «Товарищи, прошу не шуметь» — и готово. Лучше команды «смирно» — как в рот воды наберут! — восхищался он. Вообще весь он был под впечатлением внешних картин, мало разбираясь в сути совершившегося.

Гурьянов подходил к вопросу с другой стороны:

— Это хорошо, что царя согнали, — как бы в раздумье говорил он: — народом куда справедливее управлять. Только как оно что выйдет?

— Как что выйдет? Не понял, что ли? — возмущался восторженный Афанасьев.—Забыл, маленький-то говорил: соберем собрание от всего народа, оно и решит, как чему быть, как управляться и по каким справедливым законам.

— От всего народа, говоришь? Не больно, брат-то, нас с тобой законы-то составлять пустят.

Афанасьев весело рассмеялся.

— Вот чудак, да сегодня-то кто же был епутат, чего же тебе еще надо? Без начальства сами все решали.

— Не мы, брат, решали, а те же господа, только что погоны наши — солдатские, и председатель высокий и маленький тот, видать, что из господ, и со значками учеными.

— Ну, так что ученый? Ведь за нас, за народ, говорили. Тебя, что ли, дурака, слушать бы стали?

— Что меня! — обозлился Гурьянов. — А зачем они тому толсторожему пехотному говорить-то не дали?

— А не дело говорил, потому и не дали.

— Как не дело! Правильно говорил: за кого воюем, чего нам надо, земли все одно больше не дадут, рабочим жалованья не прибавят. Долой войну, говорит, ну и конец.

— Так, так, — иронически ответил Афанасьев: — это дело, по-твоему, нам да немцу уступить? Шалишь, брат, теперь-то при свободе-то и повоюем, мы им покажем. Сознательно воевать будем, — важно закончил Афанасьев, гордый новым для него словом «сознательно».

Я с любопытством присматривался к Гурьянову. Небольшого роста, невзрачный человек, он поразил меня еще до этой сцены своим вдумчивым отношением к событиям, которое обнаружил рядом задаваемых вопросов. До этого я только помнил его лицо, но совершенно не знал. Очевидно, однако, он чем-нибудь выделялся в глазах товарищей, что попал, несмотря на свой серый вид, в выборные.

«Долой войну», говорил «толсторожий» пехотинец. Вова Солнцев говорит то же. Наконец, этот новый знакомый Гурьянов убежден в том же. Чувствовалось, что это были слова не шкурников, а слова людей, если и не понимающих, то чего-то ищущих. А сколько их будет, когда свобода и права гражданства возьмут свою силу, когда азбука политических вопросов дойдет до сознания изолированных до сего времени людей! Сколько поклонников на шкурной почве появится у этого мнения! Вспомнилась история с первым полком, другие, более мелкие инциденты, говорящие за начавшееся разложение армии.

Да, войне конец. Это стало для меня ясным, как и то, что борьба против этого зарождающегося движения будет бесцельна...

События шли, как в калейдоскопе. Заседали комитеты, ротные, полковые, дивизионные, армейские. Жизнь учила и быстро ломала ненужное, отбрасывая лишнее.

На первом же заседании полкового офицерского комитета выяснилось, что никакого общественного и практического значения он иметь не может: с одной стороны, солдатский комитет, руководящий солдатской массой, с другой — командование, ведаю-

щее боевой, строевой и хозяйственной жизнью полка. Невольно приходилось останавливаться на мелочах своего офицерского быта. На первом же собрании неожиданно выплыл наружу острый незамеченный прежде вопрос об отчужденности между кадровым офицерством и офицерами «военного времени». Я и большинство старого офицерства этой разницы не видели, или ее проглядели, но молодежь ее, казалось, усмотрела. Виновной в ней оказалась кадровая молодежь, за год, за два до войны выпущенная в офицеры. Считая себя «старыми вояками», они не могли подчас удержаться и не подчеркнуть своего преимущества, своего знания и даже «опыта» пред выпущенными во время войны офицерами, наспех окончившими курсы и школы различных наименований. Может быть, этот вопрос не принял бы резкой формы и не стал бы совсем пред комитетом, если бы не подпоручик Юрченко, в первые дни революции вернувшийся в полк.

За два года до войны выпущенный в офицеры, высокий, представительный красивый брюнет, всегда элегантно одетый, он производил впечатление типичного сына Марса. Большие черные, чуть на выкате глаза казались такими прямыми, смелыми. До войны это был общий любимец начальства и полковых дам. Война сняла с него весь окружающий его ореол и выявила его подлинную личность.

Для меня, участника нескольких войн, не существует людей ни храбрых, ни трусливых, а есть лишь люди, умеющие в большей или меньшей степени владеть своими нервами. Я знал людей, распускавшихся от небольшой опасности и хладнокровных в минуту смертельных ужасов. Настроение, самолюбие, чувство долга — вот главные факторы, руководящие человеком в боевой обстановке. Я помню штабс-капитана Андреева, кадрового офицера, уже немолодого человека; только в 16-м году попал он из запасного батальона на фронт. В первом бою он не справился с собой и ушел из боя с самого его начала. Заболел. Он был, конечно, болен, действительно была потрясена вся его нервная система, выпущенная из рук. Товарищи, главным образом, молодежь, его заклеймили. Поднимался разговор о предании суду.

Следующий бой. Мы сидим, прижавшись к окопам в ожидании момента атаки. Гренадеры-разведчики уже там в поле работают в проволоке противника. Немец ждет атаки, его артиллерия громит окопы, за которыми мы прижались. Ад. Вдруг на бруствере появляется во весь рост одинокая фигура Андреева. Спокойно, ровным насмешливым голосом он громко иронизирует по поводу неудачной артиллерийской стрельбы немцев, рассказывает об отчетливо видимых ему действиях наших гренадер и охотников. Бодрит свою роту.

Я понимаю Андреева, но все же кричу ему, чтобы он сошел вниз, бросил свою ненужную браваду. За шумом боя он меня не слышит. Иду вдоль окопов ближе, вижу бледное, но совершенно

спокойное, лишь с ненормально блестящими глазами его лицо, кричу опять свое приказание. Но, видимо, ему жаль расстаться с переживаемым острым наслаждением ужаса. Он стоит, как зачарованный.

— Тут хорошо, господин полковник, — весело отвечает он мне. Лишь рядом повторных сердитых окриков мне удалось его заставить спуститься за бруствер.

Не так показал себя Юрченко. Он с первых дней войны умудрился уклониться от всех боев, являясь в полк в период затишья и испаряясь в тыл с первыми предвестниками боя.

В 14-м еще году, в первый день варшавских боев, он ушел за полчаса до атаки; его считали раненым, но он вернулся из госпиталя с уведомлением о том, что был болен «инфлуэнцой». От него отвернулись. Следующий бой, та же картина. Начальство начало угрожать, но ничто не могло исправить Юрченка. Он стих, он сжался, затих, как-то опустился весь, но поведения своего не изменил. Его товарищи калечились, убивались, более счастливые увешивались наградами и повышались в чинах, на это претендовать хватало и у него смелости, но рискнуть своей шкурой, оправдать свое назначение кадрового офицера он упрямо не хотел. Под угрозой предания суду, Юрченко устроился в тылу и отсутствовал из полка больше года. Вскоре после революции, однако, он, как ни в чем не бывало, опять явился в полк. Переменный состав временного офицерства знал его мало, кадровые его чурались, и этим определилась линия его поведения. Он опять почувствовал возможность играть роль, всплыть в создавшейся неустойчивости. Собрав вокруг себя часть молодежи военного времени, он стал агитировать и сеять раздор между ними и кадровыми. Он интриговал и против одиночных личностей, в первую очередь против Суслова, который по своей натуре и взглядам не хотел и не умел скрыть своего к нему истинного отношения, граничившего с отвращением.

В глубине окопных блиндажей плелась грязная интрижка. Согбенная фигура Юрченка стала выпрямляться, но он не рассчитал своих способностей на этом поприще, увлекся, и его работа выявилась раньше, чем он этого хотел. В полковой офицерский комитет поступило коллективное заявление группы офицеров 4-го батальона с обвинением Суслова в превышении власти, некорректном отношении к товарищам и в умышленном торможении представлений о наградах офицерам. Заявление заканчивалось требованием, чтобы Суслов ушел с должности полкового адъютанта. Что Суслов был неприятен многим, я знал, но последняя приписка о торможении наград лишала это заявление серьезности и веса. Полковой офицерский комитет, не разбирая этого заявления, по моей просьбе, уполномочил меня сделать собрание офицеров 4-го батальона и выяснить вопрос на месте для доклада комитету.

На собрание, заинтересованные его повесткой, собрались почти все офицеры полка, и тут роль Юрченка выяснилась во всей ее неприглядности, тем более, что, будучи инициатором заявления, он уклонился поставить свою подпись под ним на ряду с другими. Я ждал, что Юрченко прикроется маской оборончества, что могло бы спасти его положение, но он не учел этого и выявлял себя ярым шовинистом. Прижатый к стене, он сделался нахальным и топил себя все больше и больше. Источник начавшихся разногласий между офицерами обнаружился. Это собрание, бурное в начале и перешедшее в конце в спокойную товарищескую беседу, решило судьбу Юрченка в полку, а также имело большое влияние на всю дальнейшую судьбу полка до конца его существования. Оглянувшись спокойно на прожитые вместе тяжелые боевые дни, все уяснили себе, что поднятый вопрос о группировке офицеров не имел и не имеет под собой почвы. Единичные редкие столкновения по этому вопросу обычно были столкновениями личного характера и объяснялись невыдержанностью 20-летних «стариков» из числа кадровой молодежи. Договорились: «страна, в какой бы стадии революции она ни находилась, каким бы правительством ни возглавлялась, всегда будет нуждаться в боеспособной армии, почему разлагать полк своими мелкими ссорами и дрязгами мы не имеем права. Наша главная и независимая от политики задача сохранить боеспособность полка». Подавшие заявление о Суслове взяли его обратно, согласившись, что этот не всем приятный человек, как работник, теперь особенно необходим на своем месте. Решение этого нашего общего неофициального собрания до конца поддерживалось офицерами и проводилось в полку.

Уже на втором заседании офицерского комитета было решено делать только объединенные собрания солдатского и офицерского комитетов. На первом объединенном заседании уже было ясно, что комитет в полку может быть только один, что и было тут же проведено в жизнь. Мы очень гордились потом тем, что это почувствовано и проведено у нас в жизнь раньше других и даже раньше, чем это сделал армейский комитет, также сливший потом свои разрозненные части.

Дошел до нас приказ № 1. Он, конечно, не попал в штабы, а сначала робко, как бы из-под полы, читался в окопах. Мне его показал Гурьянов. Поймав меня как-то одного в ходе сообщения около моего блиндажа, он протянул мне печатный листок.

— Вот, ваше высокоблагородие, документик, почитайте-ка.

Оказался приказ № 1, перепечатанный и распространяемый от каких-то организаций в Риге. Читаю и вижу, что Гурьянов с напряженным любопытством за мной наблюдает.

Отмена отдания чести, обращение к солдатам на «вы», обращение к офицерам по чинам, комитеты, — все ясно, нужно и последовательно. Но дальше хуже: выборное начальство. Это уже, ясно, или конец войне, или полное поражение армии.

Отменяется параграф 19-й устава внутренней службы. Стараюсь вспомнить этот параграф и не могу.

— Отмена запрещения играть солдатам на деньги в карты, — поясняет мне Гурьянов, очевидно, детально ознакомившийся с приказом.

— Ну, как, ваше высокоблагородие? — задает он мне вопрос. Объясняю свои впечатления и свое недоумение по поводу карт в таком важном по существу документе.

— Тут, верно, неустойка вышла, — соглашается он со мной. — Надо бы и офицерам запретить, а они и солдатам разрешают. А насчет выборов, по-моему, тоже хорошо, ежели к ним сознательно отнестись. А что насчет войны, так и ладно, ни к чему она, — закончил он, протягивая руку за приказом.

Однако, по моей просьбе, он оставил листок у меня, взяв обещание вернуть ему его на другой день обратно.

Только у себя на свободе рассмотрел я, что этот приказ по «петроградскому гарнизону» и будто бы к нам отношения не имеет. Кроме того, увидел, что он не Временного Правительства, а Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, т.-е. величины, для нас по тем временам не имевшей ясных юридических форм. Тем не менее было очевидно, что он уже проник в массы и рано или поздно войдет в жизнь.

Говорил с Кузьмичевым, который командовал полком. Этот решительный раньше, не задумывающийся ни над чем человек окончательно растерялся под напором идущих событий.

— Ни черта не понимаю, — откровенно сознался мне он. Все же договорились провести в жизнь через комитет этот приказ, за исключением выборности.

— Ну, тебе видней, не даром с революционерами якшался, — закончил наш разговор Кузьмичев. — Только не подведи, смотри.

— С какими революционерами? — спросил я, недоумевая.

— Ну, ладно, дурака не валяй, ведь я теперь командир полка, для меня секретных бумажек нет, спроси Игнатия Васильевича.

Суслов, что-то писавший тут же за столом, поднялся и объяснил мне непонятные слова Кузьмичева.

— Теперь можно познакомить вас, Геннадий Николаевич, с одной бывшей «секретной» бумажкой. Вы помните, когда прибыли в полк пред войной и вам командир полка не дал роты и назначил младшим офицером. Я теперь ужасно доволен, что имею возможность открыть всю эту историю, а то меня все время огорчало, что вы могли быть на меня в претензии за эту историю.

— Ну? — перебил я его, заинтересовавшись.

— Что, задело за живое, — усмехнулся Кузьмичев.

Суслов тоже улыбнулся.

— Ну, так причиной этому была секретная бумажка, полученная в полк пред вашим приездом. Да лучше я ее вам покажу.

И, достав папку с секретными бумагами, он открыл ее и нашел эту злополучную бумагу. Какой-то отдел какого-то департамента ставил командира полка в известность, что прибывающий в полк капитан Чемоданов по службе его на Нерчинской каторге [1] выявил свою политическую неблагонадежность, почему ему рекомендуется, так и написано: «рекомендуется», не давать никакой должности, связанной с самостоятельностью.

Я весело свистнул. Новые для меня сведения теперь были только комичны.

— Вот, Геннадий Николаевич, — закончил Суслов, — исключительно поэтому вам и пришлось пробыть все варшавские бои в тяжелой роли младшего офицера.

Приказ мы провели, хотя начальство нам его не подтвердило; разговоры о выборном начале, начавшиеся было среди солдат, тоже замолкли в связи с приказом № 2.

Наш армейский комитет стал на ту точку зрения, что приказ № 1 в целом относится к петроградскому гарнизону, но тем не менее вытравить его из фронта было невозможно, и он хоть не везде сразу, но прошел и укрепился в жизнь.

Помню этот приказ в офицерском армейском комитете. Председатель Кучин разбирал вопрос об отношении к отданию чести. Толково, спокойно он доказывал о несвоевременности и ненужности его, но многим, видимо, слова Кучина показались неубедительными. Небольшие группы сторонников отдания чести перебивали Кучина протестующими возгласами. Выступил с трибуны и «защитник чести».

Высокий, бравый, с пышными усами ротмистр, недурной оратор, взялся выразить мнение протестующих.

Разврат, развал, честь России... Все беды должны были обрушиться на наши головы с отменой отдания чести. Россия пускай себе делает революцию, но армия должна остаться вне жизни.

Страсти разгорались.

Чувство стыда и недоумения вызывала эта сцена. Дикими и непонятными казались эти взрослые люди, шумевшие и протестовавшие против ненужного и неизбежного, люди, не понимавшие революции, не чувствовавшие ее неудержимого движения.

Атмосферу несколько разрядил командир одного из латышских полков, полковник Вацетис. Небольшого роста, с полным, по-актерски бритым лицом, он показался на трибуне и спокойным насмешливым тоном заставил остыть разгоряченных протестантов. «Уж большинство солдат все равно не отдают чести, — говорил он, между прочим, — и, поверьте, не в этом смысл и не на этом держится дисциплина».

---

[1] Смотри книжку того же автора «Нерчинская каторга», изд. Общества полит-каторжан и ссыльно-поселенцев 1924 г.

— Вот сегодня, — рассказывал он дальше, — я сегодня нарочно опыт произвел. Смотрю — идет солдат, вижу — рука по привычке тянется, а хочется свободу почувствовать, честь не отдать. Я ему сам первый козырнул, и он сейчас же ответил, и вижу — охотно прикладывает руку к козырьку. Значит, это не дисциплина, а только естественное желание почувствовать себя свободным, осязать эту свободу.

Страсти утихли, и вопрос для всех стал бесспорным.

Это было одно из моих немногочисленных участий в заседании комитета, на котором были представители-офицеры всех частей XII армии. И каких разнообразных деятелей периода революции выделил этот комитет! Из него вышел и бывший главком Вацетис, и соратник Юденича полковник Родзянко, так импонировавший собранию своим блестящим внешним видом и родством с председателем государственной думы. Он же дал и довольно крупную в свое время фигуру революции Сиверса, скромного по тем временам поручика одного из армейских полков.

Теперь, когда прошло уже восемь астрономических лет, равных столетию по нашему общественному росту, когда минувшие годы отходят в историю, мне кажется, что не правы те, кто делил и делит до сих пор старую армию на два лагеря: сочувствующих и врагов революции, и которые, без обиняков и оговорок, к первому присоединяют огулом солдат, а ко второму — офицерство. Армия всегда была отражением, точным слепком своего народа, часть которого она составляет. Темен народ — темна и армия. Попробуйте придать немецкой армии особенности и качества французской и наоборот. Никакой школой, никаким режимом, никакими писаными уставами вы этого не добьетесь и не выдавите общего армии и народу импульса. Заставьте петь армии западных народов. В них вы не услышите пения, а русская армия поет и пела и с горя и с радости, в часы отдыха и во время самых тяжелых переходов. Она ищет развлечения, утешения и бодрости в пении, это ее особенность, особенность породившего ее народа. Рабочий поет за станком, пахарь — за сохой, бурлак тянет свою унылую песню на Волге. Был невежественный народ, такой был и солдат. Офицерский класс тоже был точным отражением того общества, из которого он вышел, с которым был кровно связан. Были Родзянки, но были и Сиверсы. Политическая каторга и ссылка, имеющие в своих рядах представителей всех классов, сословий и профессий, немалый процент имели людей, носивших до этого офицерский мундир. Общество дало Пуришкевичей, Марковых-вторых, — естественно, таковые были и в армии.

Не сплошь была в те времена революционна и солдатская масса; крестьянская в большинстве, инертная в силу этого к политике, она имела на своих флангах представителей революционно-рабочего класса с одной стороны и представителей мелкой городской буржуазии, торгашей и деревенского кулачества, с другой.

Если на стороне революции, в ее первых рядах, мы имели унтер-офицера Буденного, то не мало унтер-офицеров дошло до больших чинов и на белой стороне. Как поделилась солдатская масса на красную и белую половины, так в той же пропорции и по тем же причинам поделилось и офицерство. Не правы те, кто путает понятие «белое офицерство» и «старое офицерство»: первое является определением классовым, а второе — только профессиональным. Предо мной № 193 «Известий» за 1924 г. и в нем отчет о деле заграничной контр-революции на Кубани. Главные герои: полковник Орлов, подполковник Козликов, хорунжий Семилетов. Первый бывший казначейский чиновник, поступивший добровольцем в деникинскую армию и там получивший чин полковника, второй — вахмистр старой армии и третий — урядник, — это «белые», никогда не бывшие «старыми». А кто не знает другой группы, большой, очень большой группы, начиная с главкома Каменева, «старых», никогда не бывших «белыми».

XI.

— Как хочешь, а выручай, — упрямо настаивал Кузьмичев, уговаривая меня принять должность начальника хозяйственной части полка.

— Да пойми, Кузьмич, на кой мне чорт связываться с этим нудным делом, когда мне и на батальоне легко и привольно, — отбивался я, действительно, не желая опять принимать полтора года тому назад сданную беспокойную, ответственную и многодельную должность.

— Так, ведь, я тебя по-товарищески прошу. Ты знаешь, я в этом отношении ничего не смыслю и смыслить не хочу, а в то же время я хочу быть спокойным в этом отношении, подписывая эти разные хозяйственные цифровые таблицы и бумаги. Бальзак ни черта не понимает и подведет.

Кузьмичев явно преувеличивал. Бальзак если и мало смыслил в этом деле, то все же больше года был на этом месте и никого пока не подвел, имея опытных сотрудников, смещать же его, искалеченного раной, с нестроевой должности без оснований было бы несправедливым. Я это указал Кузьмичеву, продолжая отказываться.

— Ты что, за Бальзака радеешь, что ли, — усмехнулся Кузьмичев, — так он сам просил его убрать, в тыл хочет ехать. Ничего, говорит, не понимаю и с этими новшествами и с ревизионными комиссиями служить не желаю. А ко мне вот сейчас председатель полкового комитета с председателем ревизионной комиссии приходили. Невозможно, говорят, при полковнике Бальзаке хозяйственную часть на «демократическую линию» поставить. Это, понимаешь, Лисицын-то, с... сын, так и лупит «на демократическую, говорит, линию»; тут же, будто между прочим, сообщает,

что у командира 84-го полка комитет постановил экипаж отобрать. В роде как бы намекает на что-то.

— Ну, держись, Кузьмич, как бы пешком ходить не пришлось, — посмеялся я над ним.

— А и верно, с Бальзаком находишься, он до этого доведет. Нет, будь друг. Прими ты эту должность и переведи ты, пожалуйста, все это на «демократическую» эту самую линию. Знаешь, и Волков, и Хохлов говорят, что комитету было бы желательно, чтобы ты за это дело взялся. Устрой ты это все, я тебе мешать не буду, и дело у нас пойдет.

— Разве из-за Риги согласиться, — вслух подумал я, — все же лучше плохонькая квартира в Риге, чем лучшая землянка в окопе.

— Вот, вот, — обрадовался Кузьмичев. — Игнатий Васильевич, пиши приказ, — весело крикнул он в другую комнату Суслову, и вопрос был решен.

Две светлые, хорошо меблированные комнаты с отдельной кухней, в которой расположился Николай, действительно оказались много лучше землянок. Я буквально наслаждался светом, сухостью и окружавшей меня чистотой и уютом. Прошло не меньше недели, прежде чем я мог перейти на нормальный непривычный сон ночью. Работы тоже оказалось немного, знакомое дело шло, как было поставлено мною еще полтора года тому назад; все хозяйственные чины и чины нестроевой роты были мне известны со всеми своими достоинствами и недостатками. Заботы о снабжении продовольствием потеряли свою остроту, благодаря присутствию крупного центра Риги с ее многочисленными интендантскими складами. Все недостающее было к услугам на рынках и у подрядчиков. Но был еще один плюс, это то, что Лисицын называл «демократическая линия»; эта самая линия, которой так боялся Бальзак, т.-е. контрольная комиссия, возглавляемая Лисицыным, была действительным благодеянием по тем временам для начальников хозяйственной части. Весь ответ, все мелкие неприятности можно было переложить на плечи этой комиссии и не во вред, а на пользу дела.

Пока мы занимались своими мелкими делами и так или иначе, как умели, «творили» революцию, где-то там, далеко от нас, она шла, развивалась и в горячей борьбе выковывала свой настоящий путь.

Долго смысл этой борьбы был непонятен и чужд офицерским и солдатским массам фронта. Картина в ее примитивном виде всем казалась очевидной и путь ясен: свергли царизм, имеем Временное Правительство, потом будем иметь Учредительное Собрание, которое и даст нам твердое, нужное народу правительство.

«Советы», о которых иногда читали в газетах, большинству казались ненужными, временными придатками, досадливо мешающими правильному ходу и течению революции; казалось, что пра-

вительство действует, а советы говорят, правительство «заявляет», что Россия неуклонно выполнит свои военные обязательства, а Петроградский Совет «выпускает» воззвание к народам всего мира, что демократия будет противиться захватной политике своих господствующих классов. Неясно стали проникать слухи и подниматься разговоры о мало кому известном Ленине, видимо, ставшем во главе этих непонятных Советов. Поднялись споры и толки о запломбированных вагонах, в которых якобы Вильгельм направил в Россию приехавшего Ленина и его единомышленников. Далекая сначала, эта борьба стала мало-по-малу находить и у нас свое отражение и наглядно выявляться. Появилась откуда-то, почти нелегально, в окопах «Окопная Правда», небольшая газетка крайнего направления, приспособленная для солдатского понимания. Исполком армии и командование в приказах и сообщениях ругали эту газету и делали попытки приостановить ее распространение. Даже наш полковой комитет вынес о ней какое-то отрицательное постановление.

В состав полкового комитета в это время входило 5 офицеров и 12 солдат из числа бывших членов, первоначально выбранных в первые солдатский и офицерский полковые комитеты. Из офицеров были: я, подполковник Жуковский, Малкин, Солнцев и поручик Пестов. Этот последний был единственным человеком из всего состава комитета, имевшим политический опыт и стаж, так как состоял в партии с.-р. еще с 1910 года.

Учитель Вятской губернии из прапорщиков запаса, он ничем не выдавал своей партийности до революции, был скромным хорошим товарищем, исправным офицером и ко времени революции уже командовал ротой. Теперь он энергично работал в интересах своей партии и, в создавшихся для этого благоприятных условиях, небезуспешно. В полку нашлось еще два молодых офицера, принадлежавших к этой партии, и эс-эровские идеи пользовались в полку видимым успехом.

Солдатский состав комитета, как я выразился уже как-то раньше, состоял из «сливок» полка, т.-е. людей, как по своему образованию, правда, обычно не законченному, так, главное, и по социальному положению считавших себя выше серой солдатской толпы. Это были люди, имевшие чистые носовые платки и вид, заставлявший еще до революции многих офицеров избегать с ними требуемого местоимения «ты». Только Лисицын и Гурьянов были случайными типичными представителями рядового солдата.

Тенденция о необходимости продолжения войны и внедрения «сознательной» дисциплины в комитете была незыблема. Только Гурьянов делал попытки поколебать это настроение, неудачи не останавливали его, и он при всяком случае тихо, но упрямо отстаивал свою точку зрения.

К «Окопной Правде» не относились серьезно как офицерство, так и большинство солдат, типа «комитетчиков». Маленькая

газетка зло и грубо, как казалось тогда, ругавшая людей, еще окруженных ореолом героев и творцов революции, газетка, самую еще не переваренную как следует революцию окрестившая уже именем контр-революции, казалась большинству какой-то досадной временной накипью. Большинство не брало даже труда ее просмотреть, не только вдуматься в ее содержание. А между тем она делала свое дело в окопах в самой толще еще не задетых революцией масс. Лозунги, брошенные в ней, были так заманчивы, так понятно и просто изложены. Я читал почти каждый ее номер, сначала со снисходительной насмешкой, потом с недоумением, пока не понял крупного значения и серьезной опасности этих маленьких листков для существующего положения и его сторонников. Я лично бы по тем временам не искал случая найти эту газетку. Но Гурьянов, — до сих пор неясно понимаю его побуждения,— аккуратно снабжал меня каждым попавшим в его руки номером. Как и раньше, он ловил меня где-нибудь одного и, задав какой-нибудь вопрос, задетый в газетке, всовывал мне ее в руки. Обычно мои ответы мало его удовлетворяли, но это не останавливало его, и наши беседы с ним становились все чаще и продолжительнее. Его, видимо, подкупало мое высказанное ему раз мнение, что я считаю войну оконченной, несмотря на то, что я далеко не казался ему сторонником мира во что бы то ни стало. Во всяком случае Гурьянову я обязан тем, что скорее других понял значение и силу Советов и их смысл, а главное, понял то, что революция наша далеко не достигла своей кульминационной точки.

Маленькая газетка тихо, но верно делала свое дело, ее призыв к неповиновению офицерам, дискредитирование их в глазах солдат, лозунги о мире брали силу. Не только начальству, но и комитетам, таким авторитетным и сильным в первые месяцы, было не под силу бороться с ее влиянием. Фразы: «как разберет комитет», «что решит комитет», которые прежде не вызывали сомнений и возражений, стали зачастую перебиваться окриками: «а к чорту этот комитет», «я сам себе комитет». Ротные комитеты, уж не один раз за это время переизбранные, перестали считаться с полковым комитетом.

Надо было искать выхода. Решили периодически на заседания полкового комитета приглашать представителей ротных комитетов и выпускать решения «соединенного собрания полкового и ротных комитетов». Решения этих собраний в действительности оказались авторитетней и ближе достигали своей цели, да и сами собрания стали более жизненны.

Масса тронулась, почувствовала свою силу, но была далека еще от политического хотя бы отдаленного понимания совершавшегося.

Заговорил еще только шкурник.

— Двенадцатая рота, — заявил представитель роты на одном из наших собраний, — постановила требовать от начальника

хозяйственной части, чтобы он вернул из интендантства 135 тысяч рублей сданной полком экономии и разделил ее между всеми солдатами полка.

Сидевший недалеко Лисицын хитро и насмешливо мне подмигнул. Усмехнулись и большая часть членов комитета.

— Почему же это так полагает рота? — задал вопрос удивленный председатель Н.

— Тут и полагать нечего, — не смущаясь общими улыбками, ответил представитель роты. — Сдана экономия. А на чем начальство при старом режиме экономило? Известно, на нашем брюхе. Значит, и верни нам наше...

Я посмотрел на председателя, прося у него глазами слово.

Дело в том, что названная цифра была сдана как раз за мое первое пребывание в должности начальника хозяйственной части. После периода варшавских боев я был назначен на эту должность и занимал ее в течение почти года. Экономия эта, конечно, не была сделана на солдатском брюхе, как уверял представитель роты, а получилась от слишком высоких справочных цен и являлась разницей между производимым по ним отпуском денег и действительной покупной стоимостью продуктов. В полку, в частности, эта экономия была больше соседних полков лишь потому, что я отказался от услуг подрядчиков, ласковых, услужливых, но очень хищных «панов», которые невозможно нас обирали. Я вел все заготовки хозяйственным способом. Обстановка этого периода войны с ее наступлениями и отступлениями наших армий крайне благоприятствовала накоплению экономических сумм. Жители прифронтовой полосы, убегавшие от случайностей войны, за бесценок продавали как скот, так и другие зачастую бросаемые ими продукты. Подрядчики их жали, и при этих условиях моя дешевая покупка у них, без торга, предлагаемых продуктов и скота носила почти что характер благотворительности. Мясо обходилось, например, при покупке его гуртом до трех рублей, при отпуске на него девяти рублей с копейками.

Все это я изложил сейчас перед собранием, сделав в конце указание на то, что теперь «казенных» денег нет, а есть общая народная касса, запускать руку в которую мы не имеем права.

Лисицын, сочувственно на меня, как казалось, поглядывавший во время моей речи, как только я ее кончил, порывисто вскочил и попросил слова.

— Товарищи,—своим громким, немного резким голосом обратился он с жестом к собранию, — революция открыла нам глаза, революция дала нам большое право требовать отчета в действиях наших начальников. На наших брюхах сделали экономию, так ты нам ее и отдай. Прошла пора бесправия, каждый рубль, каждая копейка у нас на учете. Я сам, выбранный вами председатель контрольной комиссии, стою на охране ваших интересов.

Довольно попили нашей кровушки. Правильно ли я говорю? — обратился он, повышая тон, к собранию.

— Правильно, правильно, — зашумела часть собрания в лице большинства ротных представителей и стрелков, находившихся при штабе полка.

Как бы подхлестнутый криками одобрения, Лисицын еще с большим пафосом продолжал:

— Что мы были раньше? Безропотные, бессловесные люди. А теперь, товарищи, мы всё, мы сила, мы сами народ, мы, товарищи, сознательные граждане. С лозунгом «Земля и Воля» мы пойдем вперед и победим все преграды. Правильно я говорю?

— Правильно, — загудела опять и еще дружней аудитория.

Это была обычная речь и обычный прием Лисицына. Никогда нельзя было понять, что он, собственно, хочет сказать и к чему клонит свою речь. В начале эта речь сплошь состояла из обычных митинговых фраз, казалось, без всякой связи идущих одна за другой, но всегда, по тому времени, возбуждающе действовавших на слушателей. Своими вопросами: «правильно ли я говорю?» он как бы связывал себя с аудиторией, подчинял ее себе и заставлял так же утвердительно отвечать и на вопросы, поставленные в конце, по существу дела.

Так было и на этот раз; набросав кучу митинговых фраз, взвинтив себя и слушателей, он незаметно перешел к делу, похвалил меня, похвалил, как труженика на новом хозяйственном поприще, себя, повторил мои доводы за то, что разбиравшаяся экономия была построена не на «солдатском брюхе», и на вопрос: «правильно ли я сказал?» получил такой же дружный и восторженный ответ: «правильно».

Восьмая рота выставила требование, чтобы все жалованье офицерское, унтер-офицерское и стрелков складывалось в общий котел и делилось поровну между всеми чинами полка.

Одиннадцатая пошла еще дальше и требовала, чтобы жалованье отпускалось в роту по полному штатному числу чинов в роте и делилось поровну между наличными людьми.

И все эти вопросы долго и упорно разбирались, дебатировались и по всем писались длинные постановления для объявления их по полку.

XII.

Как-то через несколько дней после описанного собрания ко мне в Ригу съехалась компания офицеров. Полк перевели в дивизионный резерв, и как солдаты, так и офицеры спешили использовать отдых, подчиниться, пообчиститься и развлечься городом.

Володя Малкин и Вова Солнцев приехали со вчерашнего вечера и у меня после театра ночевали. Майский с Пестовым, Свечиным и Хмыровым подошли к обеду.

Разговоры за обедом вертелись около последних политических событий, разыгравшихся в Петрограде, — открытого выступления большевиков 3-го и 4-го июля.

События эти правительственные газеты трактовали как бунт кучки изменников не только правительству, но и самой революции, а попавшие к нам несколько номеров «Петроградской Правды» рассматривали это как выявление подлинной революции, как акт подлинного народного возмущения.

— Я не читаю этой вашей большевистской «Правды», а «Окопную Правду», кажется, прихлопнул бы, — заявил Майский Солнцеву, — от них слишком сильно немецкими деньгами пахнет, а те два номера, которые мне попали случайно в руки, явно написаны рукой изменника или безумца.

— Однако руководителями этого движения являются люди безукоризненной чистоты, всю жизнь отдавшие на служение народу, — возразил Солнцев.

— Откровенно говоря, имен этих руководителей я не знал и не знаю. Но, судя по их главе, Ленину, с его пломбированным вагоном, — ответил иронически Майский, — не думаю, чтобы эта компания заслуживала доверия.

Солнцев вспыхнул.

— Надеюсь, — заговорил он горячо, — вы выше того, чтобы верить этой глупой сплетне, обвиняющей целую политическую партию в измене и продажности... Вы можете быть ей враждебны, с ней не соглашаться, но верить бабьим сплетням...

— Верю я или не верю, — подчеркнуто спокойно и как бы снисходительно перебил его Майский, — это частное мое дело, но согласитесь, Владимир Васильевич, что я не могу сочувствовать группе, избравшей своей задачей натравливание черни на порядочных людей, группе, которую вы по вашей снисходительности назвали политической партией, которая добивается, чтобы наша красивая бескровная революция захлебнулась в потоке ненужной и бесцельной крови.

— Вы большевикам отказываете даже в праве считаться политической партией! — удивился Вова.

— Да, я такой не знаю, потому что это только, поскольку я разобрался, какой-то болезненный, нездоровый нарост социал-демократии. Да вы сами-то, Вова, уж не большевик ли? — иронически спросил Майский.

— К сожалению, не большевик и не меньшевик, а просто не приставший ни к одному берегу обыватель, — зло сказал Солнцев, — но во всяком случае обыватель беспристрастный и не буду так, как вы, очевидно, определившийся уже политически человек, бросать грязью в честных людей, ищущих прямых путей для блага народа.

— Да, — самоуверенно возразил Майский, — вы правы, я определился и считаю единственно разумной партией кадетскую,

членом которой я в настоящее время и состою. В ней весь ум страны, вся профессура. . .

— Вам, очевидно, улыбается ученая карьера? — не удержался сострить Хмыров.

Майский вспыхнул. Все знали, что он не окончил даже среднего образования.

— Вы вечно с паясничеством, пора бы уж остепениться, здесь вам не балаган, — отпарировал он Хмырову.

— А я все же удивляюсь вам, господа, — продолжал Майский менторским тоном, небрежно развалясь в кресле и помешивая ложечкой чай, — время идет, события ширятся, мы растем не годами, а часами, а вы все еще не можете найти своего места в революции. Хотя бы вот вы, — обратился он к Малкину, — неужели еще не установили своей политической линии, ведь, насколько я знаю, вы и до революции в политику играли и не питались одним «Новым Временем», как большинство из нас.

— Уж не хотите ли и меня спропагандировать в кадетскую партию? — улыбнулся Малкин.

— А почему бы и нет? Что вы можете возразить против ее программы с разумной буржуазной республикой? Лучшие умы работали над ее разработкой.

Пестов сидел и, видимо, сильно волновался, несколько раз он порывался ввязаться в разговор и возразить Майскому.

Присутствовавших главным образом возмущал тон Майского, но Пестова, видимо, задели и самые слова новоявленного агитатора.

— А однако ваши профессора, — весь красный, не выдержал наконец Пестов, — не отличаются постоянством своих политических убеждений и, вчерашние конституционные монархисты, они сейчас демонстрируют под флагом республиканцев. Вот вы все говорите: ум, ум, профессура. Так какая профессура? Не та ли официальная профессура, которая легко уживается с монархией? Нет, умы не здесь, не в дипломах, а в жизни, в знании, в борьбе. Мы достаточно созрели, чтобы признать наличие больших умов и авторитетов в других партиях, не только среди дипломированных кадетов, во главе с Милюковым и К°.

— Стой, Пестов, — перебил его Володя, — ты опять начинаешь свою эс-эровщину разводить, брось, брат, его, сам видишь, — кивнул он на Майского, — не убедишь, нам ты тоже нового ничего не скажешь. Надоело уж это до чортиков.

— Вот вы, — обратился он к Майскому, — сказали, что удивляетесь мне и, конечно, ему и ему, — кивнул он на окружающих, — что мы, как говорится, своей политической линии не нашли. За других говорить не буду, а за себя скажу: каюсь, не нашел.

— А вот, разрешите, я преподнесу вам несколько брошюр, и, надеюсь, они вам откроют глаза на действительность.

Тон Майского был все тот же.

Володю взорвало.

— Вы что, наивничаете, или... — он не докончил, спохватившись, фразы. — Да знаете ли вы, что, когда вы, по вашему же признанию, ничего, кроме «Нового Времени», не читали, я знал все эти ваши брошюрки, но и тогда они меня не удовлетворяли и не убедили, — закончил миролюбивым тоном Малкин.

— Там Лисицын пришел, — перебил Малкина вошедший Николай.

С тех пор, как было отменено обращение «ваше высокоблагородие» и заменено обращением по чинам, я долго вел с ним борьбу, заставляя его обращаться ко мне по-новому «г-н полковник», он никак не хотел отвыкать от привычных слов и, когда я уже начал на него сердиться, вышел из положения, совершенно избегая обращения при разговоре со мной.

Лисицына я сегодня просил отвезти подрядчику довольно крупную сумму денег и его прихода ждал. Меня это устраивало, а Лисицыну я дал возможность при подходящем случае бросить громкую фразу: «когда я рассчитывался с подрядчиком».

Лисицын вошел, несколько смущенный нашим шумным собранием.

— А, герою последнего соединенного собрания! — приветствовал его Солнцев. — «Правильно ли я говорю?..» — неожиданно обратился он к присутствовавшим, подражая Лисицыну и его же тоном.

— «Правильно, правильно!» — загудел Малкин, имитируя толпу.

Лисицын смутился еще больше, но, видимо, был польщен.

— Не смущайте человека, а ты, Володя, лучше налей-ка ему чаю. Садитесь, рассказывайте. Рассчитались с подрядчиком? — обратился я к Лисицыну.

— О, да, — сразу принимая деловой тон, ответил Лисицын, доставая из кармана оплаченный счет и протягивая его мне. — Он рис предлагает, надо бы товарищей рисовой кашей побаловать.

— А вы рис видели, хорош? — задал я вопрос.

— Рис подходящий и цену просит небольшую, — так же деловито отвечал Лисицын. — Надо бы взять.

— Ну, что же, возьмем, — согласился я, — не обеднеем.

— Рис вещь хорошая, — дурачась по обыкновению перебил меня Хмыров, — и вопрос об улучшении питания товарищей материя важная и серьезная, но я вношу предложение отложить эти вопросы до более подходящего времени, на часы служебные, и до более подходящего места — канцелярии. Согласных прошу рук не поднимать и вообще сделать вид, что к моему предложению они серьезно не относятся. Вопрос принят, — закончил он, обводя взглядом собравшихся и найдя в них все признаки предъявленных им требований.

— Скажите, пожалуйста, — обратился он уже серьезно к Лисицыну, — откуда это у вас ораторские таланты появились?

— Ну, какие мы таланты, на медные гроши учились, — со скромностью возразил Лисицын.

— Да я не про красоту вашего слога говорю, но где вы научились, чорт возьми, говорить по часу без перерыва и выпускать по сто двадцать слов в минуту?

— И это не важно, — вступился в разговор Малкин. — А откуда он научился толпу в руки брать и где вы, — обратился он к Лисицыну, — это свое «правильно ли я говорю?» выискали?

— Это уж так само выходит, не все говорить — и спросить нужно, — возразил Лисицын, очевидно, сам задумавшийся над этим вопросом.

— А откуда это вы, Лисицын, в последний раз «Землю и Волю» приплели? — задал я заинтересовавший меня еще тогда вопрос.

Лисицын многозначительно улыбнулся, полез в свой бумажник и, вытянув какую-то карточку, протянул мне.

Это оказался билет, удостоверяющий его принадлежность к партии с.-р.

Я улыбнулся и вопросительно посмотрел на Лисицына.

— Как же, как же, — заговорил он торопливо, — вот уже пять дней, как имею счастье быть членом партии социалистов-революционеров, — и он торжественно обвел глазами присутствующих.

Пестов встал и горячо пожал руку Лисицыну.

— Рад, от души рад, — сказал он серьезно, — но только почему вы нашу полковую организацию обошли, мы ведь ведем учет и общую работу среди своих членов.

— Да, видите ли, вы далеко, а я тут с хозчастью в городе, так уж непосредственно связался с городской организацией.

— Еще один нашел свое место во вселенной, — комически вздохнул Хмыров, — а мы все в междупалубном пространстве обретаемся.

— Нельзя не похвалить этой партии, — обратился к нему серьезно Лисицын, — самая настоящая партия крестьянская, а мы страна крестьянская, земледельческая, — повторил он, видимо, заученную фразу. — Все должны ей сочувствовать. «Земля и воля» — русскому народу больше ничего не надо.

— Вот денек-то выдался, — серьезно произнес Хмыров. — Положение хуже Владимира Великого: того соблазняли, как говорит Иловайский, внешней стороной обрядности, а тут предложения посерьезней — с одной стороны умом заманивают, а с другой земли предлагают.

— Это не только не остроумно, но даже пошло — вспыхнул Майский.

— Ничего не поделаешь, Анатолий Николаевич, революция все изящное из жизни выбрасывает, все грубо и топорно кругом, уж

не обессудьте, а что касается выбора, — серьезно продолжал Хмыров, — так, откровенно говоря, я все же предпочту землю Лисицына вашему уму.

— Это дерзость? — вопросительно и резко сказал Майский.

— Только каламбур, извините, глупая привычка, — ответил серьезно и скромно Хмыров. — Я хотел сказать только, что, по-моему, земля больше к лицу трудящемуся крестьянину, чем лодырничающему помещику.

— Браво! — тихо и сочувственно отозвался с места Пестов.

Майский насмешливо фыркнул, но ничего не сказал.

В комнату вошел старик-делопроизводитель и отвлек меня каким-то служебным делом; когда я после его доклада и подписи бумаг возвратился из комнаты, служившей мне спальней и кабинетом, то застал своих гостей разбившимися на группы и мирно беседующими. Майский сидел с Хмыровым и Пестовым все еще за чаем и что-то весело хохотали.

Малкин, Солнцев и Лисицын стояли у окна и оживленно беседовали.

— Послушайте, Геннадий Николаевич, что он тут рассказывает, — встретил меня Майский, указав на Хмырова.

— А что такое? — полюбопытствовал я.

— Да нет, пусть он сам вам расскажет, — ответил Майский.

Хмырова просить было не надо, и он живо в лицах повторил свой рассказ.

— Да пустяк, Геннадий Николаевич, ведь вы моего денщика знаете, — охотно начал он. — Ну, так вот с ним у меня все разные курьезы происходят. А вчера вечером спать не спится, тоска, в окно дождь стучит, в трубе ветер воет. Пробовал читать — не читается, пробовал уснуть — не спится, думы, знаете, в голове самые мрачные ходят. А за дощатой перегородкой, слышу, Алеха мой тоже не спит, ворочается и что-то все бормочет; сначала не обращал внимания, думаю, мое настроение передалось, потом начал прислушиваться, — слышу, стонет: «Ах, как пить хочется». Что, думаю, за чорт, пойди да напейся. А он, погодя немного, как будто на мою мысль отвечает, опять застонал: «а вставать не хочется». Зло меня взяло, жду, что дальше, а он опять: «Ах, как пить хочется». Обозлился я. «Алексей!» кричу. Слышу, вскочил, в одном белье является. «Принеси, — говорю, — мне ковшик воды».

— Слушаю, — говорит. Притащил.

— Пей, — говорю, — чортова перечница, надсадил ты мне душу.

Одним духом выпил, понял, анафема, рассмеялся.

— Покорнейше благодарю, — говорит, — вчера с Василием селедок поели очень.

Все рассмеялись рассказу, да и нельзя было удержаться, принимая во внимание его артистическую передачу.

Компания у окна тоже прослушала рассказ и отдала ему дань дружным смехом.

— А вы тут о чем совещались? — подошел я к ним.

— Да вот Лисицын все нас упрекает, что мы в с.-р. не записываемся, — улыбнулся Малкин.

— Да как же, г-н полковник, — обратился ко мне Лисицын. — Ведь мы тоже учитывали и раньше, кто из офицеров за народ был, знаем, кто чем дышит и кому в самый бы раз в эс-эры записаться.

— Вот видишь, — обратился Малкин ко мне, — Майский говорит: «в политику играли», Лисицын перефразировал: «за народ были», и оба удивляются и упрекают в одном и том же. Они что-то делают, во что-то верят. Они перегнали нас, что ли, переросли? — недоумевающе закончил он.

— Нет, зачем переросли, вам просто случая не было, — успокаивал его Лисицын. — Вот я вам принесу программку, вы ее прочтете и сразу все почувствуете.

Малкин улыбнулся.

— Нет, Лисицын, вы меня не поняли, беда не в том, что я не знаком с вашей программой, а именно в том, что я ее знаю и знал еще тогда, когда вы, может быть, с чистой душой «Боже, царя храни» распевали.

— Ну, положим. . . — обиделся Лисицын.

— Вы не обижайтесь, — перебил его Малкин, — ведь я говорю примерно. Я вообще хотел сказать, что раньше вас пережил волнения от социальных вопросов. Знал партии, их программы. Даже одно время себя анархистом чувствовал, — улыбнулся Малкин. — А вот теперь стою на распутьи и не знаю, где истина.

— Ну, этого я не понимаю, — искренно сознался Лисицын.

— И не понимайте, — горячо ответил ему Малкин, — вы почва девственная, в вас сейчас какую программу ни швырни, всякая всходы даст.

— И не только не понимайте, а просто не слушайте его, — добавил Солнцев. — И как, Володя, тебе ныть не надоело: где правда? Ищи ее в «Правде», где хочешь ищи, но не ной.

— Это вы не насчет ли большевиков намекаете? — улыбнулся неуверенно Лисицын.

— Да в роде этого, — ответил Солнцев.

Лисицын фыркнул.

— А вы не фыркайте, — осадил его Солнцев, — приучайтесь относиться с уважением ко всяким мнениям; ведь у большевиков тоже программа есть, и печатная, имейте это в виду.

— Нет, я что ж, конечно, программа и у них есть, — недоумевающе ответил Лисицын, очевидно, не ожидая встретить не сочувствие даже, а просто серьезное отношение к всячески дискредитированной комитетами и начальством партии.

— Ну, вот что, — раздался голос Хмырова. — Товарищи, граждане, гг. офицеры, службу и политику по-боку. Не забудьте,

что театральные билеты у нас в кармане. «Музыки, ради бога музыки!» воскликнул кто-то в «Вии», а мы прибавим: танцев, вина и женщин!

— Если ты прибавишь сюда еще и карты, — съязвил Солнцев, — то совершенно определишь свою программу, конечно, не политическую, а житейскую.

— А вы, если будете продолжать изощряться в остротах, то совершенно у меня хлеб отобьете, — отпарировал Хмыров, и гости, простившись со мною, кроме Малкина и Лисицына, оживленной гурьбой отправились в театр, вознаграждая себя за многонедельное томительное пребывание в окопах.

— Но, что ж, — обратился я к оставшимся, — кто в театр, а мы давайте хоть бутылочку красного вина разопьем.

— Ой, мне бы уж и не надо, — сказал Лисицын, — я сейчас у подрядчика две рюмки выпил.

— Во-первых, красное вино рюмками не пьют, запомните это, — сказал ему шутя Малкин, — а стаканами, и, во-вторых, у подрядчиков, при расчетах с ними, пить вообще не полагается.

— Да нет, что пить, вы послушайте, что я вам расскажу, при всех-то я говорить не хотел. Вот как мы с деньгами кончили, он начал меня уговаривать остаться чаю напиться. Что ж, думаю, парень простой, обходительный, — остался. Вот сидим по-хорошему, винца он бутылочку выставил, разговор то да се, и начал он мне обиняком сначала, а потом все прямей рассказывать, как с него других полков контрольные комиссии взятки берут, — нахальней, говорит, чем старые чиновники.

— Может быть, врал он вам с какой-нибудь целью, — сказал я.

— Я и сам было так подумал, но, понимаете, тут же при мне приходят три солдата 80-го полка, как и я, рассчитываться. Только у них там порядки не наши, — улыбнулся он мне, — все хозяйство сами ведут, начальство от него все отстранили.

«Вот явились, один, значит, председатель полкового комитета, другой председатель контрольной комиссии и еще один из комиссии же.

«— Получите деньги, — говорят подрядчику, — и пожалуйте счет на 7.200 рублей.

«Тот деньги пересчитал, тут же на столе оставил и счет им пишет, как следует, марками оклеил. Забрали парни счет, посвистели, папироску закурили, руки в карман и ушли.

«— Вот, — говорит подрядчик, — видите, как раз мои слова подтвердили.

«— Ничего, — говорю, — не вижу; как и я, пришли, рассчитались, счет получили и ушли. Чего же тут видеть?

«— А вы, — говорит, — видели, счет-то я им на какую сумму писал; вот посчитайте деньги, что я от них получил, все и увидите, ровнехонько тут 7.020; не больше, не меньше, как десять про-

центов с суммы плачу. Вот вся троица всегда и ходит вместе, и сами такое условие предъявили.

Сует деньги в руки. «Считайте, — говорит, — удостоверьтесь». А мне уж не до счету, поверил, похолодел весь.

— Как же это так, г-н полковник? — обратился он ко мне. — Ведь, немыслимо это, народные избранники, ведь, они меня, можно сказать, как камнем пришибли. Зачем же революция тогда?

Тон Лисицына был по-детски печален, и видно было, что он искренне недоумевал и мучился.

— Не смущайтесь, Лисицын, — сочувственно сказал я ему, — и не разочаровывайтесь в революции: она сама по себе, а люди сами по себе. Негодяи всегда были и будут, а революция только теперь выбросила их наверх, как накипь, но она же их выплеснет, таким людям она пощады не даст, — рано или поздно они свернут себе шею.

— Нет, ведь, еще надо мной поиздевались: у вас, говорят, в полку настоящей сознательности нет, все еще у начальства на веревке идете.

— Уж не заявить ли мне на них? — обратился к нам обоим Лисицын с вопросом.

— Не донкихотствуйте, — перебил его с досадой Малкин.

— Как вы сказали? — переспросил Лисицын.

— Ну, не наивничайте, что ли, это все равно. Кому вы заявите, кто вам поверит? — набросился он на Лисицына.

— Вы думаете, вас подрядчик поддержит? Отречется, будьте уверены. Им не благородное возмущение руководило, когда он вас в это дело посвящал, а надежда вас с толку сбить и на ту же линию направить.

— Возможно, возможно, — неуверенно забормотал Лисицын.

— Да уж будьте уверены, что так оно и есть, и используйте этот житейский урок для будущего. Для вас, при вашем видимом желании и способностях к общественной жизни, это очень полезно. В вас, оказывается, извините за откровенность, несмотря на природную хитрость, много еще наивности осталось.

Малкин нервно ухватился за стакан с вином, большими глотками осушил его до дна и зашагал по комнате.

Молчали долго.

— Ну, я пойду, — поднялся Лисицын: — товарищи ужинать ждут.

— И я поеду, — остановился Малкин. — Дай свою лошадь, прикажи оседлать.

— Да ты-то куда на ночь поедешь семь верст киселя хлебать, оставайся ночевать, — старался я удержать Малкина.

— Нет, спасибо, тоска, прокачусь до дома, может быть, от души отляжет.

— А знаете, — между прочим сказал мне, уходя, Лисицын: — Гурьянов-то в большевики записался.

— Лошадь подана, — доложил, входя и позвякивая шпорами мой ординарец с лихим чубом.

— Сейчас, — ответил Малкин, торопливо собираясь в дорогу.

— Да останься, Володя, не дури, ну куда тебя гонит, близкое ли дело десять верст ночью тащиться.

— Нет, не удерживай, тяжело, ты пойми положение: Майский, Лисицын, вот этот твой приятель Гурьянов, люди, которые не ждали революции, может быть, даже ее не хотели, теперь живут ею, они довольны, бодры, чего-то ждут, а я, ждавший ее, — горько продолжал он, — как влюбленный ждет свою возлюбленную, теперь не понимаю ее, мне ее жаль, и она мне противна, как неожиданно изуродованная любовница. Понимаешь, радость первых дней прошла и внесла только чувство недоумения и разочарования.

— Нехорошо, Володя, возьми себя в руки, — перебил я его. — Со мной однажды, — продолжал я, — Редькин разоткровенничался и ругал революцию: он боится потерять с таким трудом и годами завоеванное положение штаб-офицера, он боится потерять выслуженную пенсию и остаться выброшенным за борт без знаний и опыта на полуголодное существование. Все просто и понятно и даже условно простительно, но твои песни не те...

— Не лукавь, ты сам мучаешься моими песнями, ты сам не видишь пути. Полгода прошло с начала революции, и люди во имя ее на самых людных улицах Петрограда убивают друг друга. Будь проклята та правда, которую можно найти только в крови.

Не простясь со мною, он быстро вышел из комнаты.

XIII.

Первые числа ноября 1917 года.

По России грозной могучей волной прокатилась Октябрьская революция. В ней не было оттенков наивности и сентиментальной красочности дней февраля — это была революция мести. Потоками крови пробивала она свой прямой твердый путь.

Вдохновленный могучим именем Ленина и руководимый партией большевиков, питерский пролетариат первый поднял свою голову и дал мощный окрик выдыхающимся героям февраля. Откликнулась Москва. Омылась кровью. Загорелась пламенем. Загудела провинция.

Но спокойно шли эти дни у нас на непосредственном окопном фронте.

Не было чувства неожиданности и новизны. Все лозунги, выставленные Октябрем, за которые лилась кровь в тылу, на фронте, на окопном фронте давно проводились в жизнь и считались непреложной истиной одними и неизбежным злом несогласными. Только армейский комитет в своем Валке, который по нашему масштабу был уже глубоким тылом, оторванный от

масс, от окопной действительности, продолжал ненужную безнадежную борьбу против стихии.

Полк стоял в резерве.

На этот раз помещение для штаба попалось неудачное. Низкий длинный приземистый серый дом какого-то латышского хуторянина, неуютно, как будто случайно, неуклюже был брошен вдоль грязной дороги. Две-три старых ивы впереди, три-четыре корявых яблони сзади дома, с остатками бурых мокрых обтрепанных листьев, полуразрушенные надворные постройки, растасканные на топливо заборы подчеркивали общую неприглядность картины.

Внутри дома было еще тоскливей. Грязный трухлявый пол, оборванные клочья обоев по стенам, заткнутые тряпкой набитые стекла в рамах, теснота и спертый сырой воздух удручающе действовали на нас случайных его обитателей. Прошли месяцы, а казалось — пролетели годы, так все изменилось в нас и вокруг нас. Кузьмичева нет, и вот уж почти два месяца, как я командую полком. «Командую», пожалуй, это будет не то слово, верней, я стараюсь командовать, я обманываю себя и окружающих. У меня никогда нет полной уверенности, что то или другое мое приказание будет исполнено. Я лавирую между возможным и нужным. Нельзя допустить неисполнения приказания, — тогда все потеряно, тогда не будет полка, за видимую хотя бы целость которого мы так бьемся, и офицеры и полковой комитет.

Я одновременно и несменяемый член полкового комитета, и это большой плюс, дающий мне возможность ориентироваться в окружающем, знать ближе настроение полка.

Недавно переизбранный общим полковым собранием полковой комитет, являющийся уже действительным представителем масс по тому времени, видимо, не мог угнаться за их настроением, за их быстрыми скачками в сторону разложения.

Ротные комитеты переизбирались по нескольку раз в неделю. Каждое слово и решение такого комитета, направленное на видимость порядка и законности, вызывало его падение и новые выборы. Требования, а иногда и с угрозами, одно нелепей другого, поступали в полковой комитет. На-днях «Латышский исполком», состоящий из группы латышей, служивших в полку, представил мне свое постановление о своем уходе из полка в латышские части.

Не протестовал и отпустил.

А вчера явился председатель «полковой рады» и потребовал от имени этой самой рады, чтобы я выдал документы, деньги и продовольствие для пятьсот человек украинцев, служивших в полку, т. к. рада постановила отправить своих членов в украинские части. Случайно лучшие пулеметчики и почти вся служба связи состояла из украинцев, уход их обессилил бы полк окончательно. Долго говорили с председателем, перенесли разговор в самую раду и условились на месячном сроке, во время которого

*

я сумею подготовить, заменить уходящих специалистов. Это была крупная победа, так как в других полках дивизии украинцы ушли еще раньше и даже самочинно.

14-я рота требовала убрать ее ротного командира, совершенно безобидного, честного и ранее, видимо, ею любимого поручика Н., и выбрала на его место своего младшего офицера, нечистоплотного, интриговавшего и грубо игравшего на популярность недавно появившегося в полку прапорщика З.

6-я рота выбрала своим председателем и членом полкового комитета присланного в полк после революции юркого жандармского унтер-офицера. Уговоры, разъяснения полкового комитета, что это лицо не может быть избираемо, не оказывали никакого действия, и спровоцированная рота явно разлагалась. Возвышение этого жандарма крайне характерно и показательно. У хозяина, на хуторе которого стояла рота, пропала свинья. Поступила жалоба мне и в комитет. Решили, что 6-я рота, как вероятная виновница, должна заплатить хозяину по существующей расценке около 40 рублей.

Жандарм применил свою старую профессию, произвел слежку и доказал, что свинью украла 8-я рота, стоявшая на соседнем хуторе; даже еще не успевшая попасть на стол свинья была обнаружена в ротной кухне 8-й роты. Это-то обстоятельство, сохранившее по четвертаку в кармане каждого стрелка роты, наконец самый прием «шерлоковщины» так повлияли на роту, что она не остановилась перед конфликтом с полковым комитетом и отстояла своего фаворита.

Каждая рота, команда так или иначе старалась выявить свое лицо, криво, косо подчас и нелепо. Все это, сложенное вместе, производило впечатление сумбура, плохо укладывалось в голове и нервировало. Не видно было, где кончается смех и начинаются слезы.

На дворе против обыкновения светило солнышко; его слабые осенние лучи с трудом пробирались чрез грязные с зелено-фиолетовым налетом стекла оконных рам, и солнечные бледные блики на грязном столе, на трухлявом полу не радовали, а еще больше подчеркивали убожество обстановки.

Адъютант, поручик Лукин, насвистывая что-то унылое, разбирался в каких-то ведомостичках и заканчивал составление приказа по полку. Любитель кулинарного искусства начальник связи поручик Ковалевский тут же около ярко горевшей плиты комбинировал на сковородке какое-то новое кушанье. Он уже выложил в пенящую маслом сковородку содержимое двух банок мясных консервов, накрошив туда же луку, и теперь с озабоченным лицом сбивал в большой эмалированной кружке яйца, насыпая туда понемногу муки и каких-то специй.

— Ну и навонял же ты своей кухней, — ворчливо проговорил, не поднимая головы от работы, Лукин. — У тебя там пригорает, что ли, глаза даже заело.

— Зато, брат, пальчики оближешь, когда есть будешь. Это что-нибудь особенное, — поцеловав кончики своих пальцев, ответил Ковалевский. — А насчет дыму — это пустяки, я на плиту немного подливки плеснул, сейчас пройдет.

— А рюмку водки дашь? — поинтересовался Лукин. — Ведь, без этой приправы ни один желудок с твоим варевом не справится.

В это время в комнату шумной веселой толпой вошла группа офицеров.

— С солнышком вас, Геннадий Николаевич, — приветствовал меня Суслов, подходя и здороваясь со мной, Лукиным и Ковалевским.

Он уже около двух месяцев, по своему желанию, сдал должность адъютанта и командовал 10-й ротой.

— Великолепная погода, — потирая руки, заявил Волокитин. — Давно солнышка не видели, на душе легче, бодрит.

— Вижу, вижу, что бродит, — подвинченный общим весельем, сказал я, пожимая руки вошедших. — Надо будет тоже вылезать из своей берлоги, воздуха нахвататься.

— Да, у вас тут насчет воздуха слабо, — комично покрутил носом Хмыров.

— А нас, Геннадий Николаевич, Хмыров всю дорогу смешил, рассказывал, как его денщика Алешу сегодня рота на руках от него таскала.

— Как таскала? — заинтересовался Лукин.

— Да вот как послов великой княгини Ольги. Заявил мой Алексей, что ни на конях не поедет, ни на ногах от меня не пойдет, ну и потащили в лодке.

Дело, оказывается, было вот в чем.

11-я рота постановила отобрать у своих офицеров денщиков.

— Нет, вы обратите внимание на мотивировку, Геннадий Николаевич, — смеялся Хмыров: — «Не может солдат, носящий погоны, холуем быть», это я вам прямо из протокола ротного собрания жарю. Понимаете, «носящий погоны», — ведь, это уж «честью мундира» пахнет. Это, пожалуй, кой-кого из наших господ офицеров к ним поучиться послать можно. Вчера еще они вечером постановили. Ну, денщики, конечно, упираются. Погрозили им лишить пайка, жалованья и всякими другими мерами воздействия. Васька ротного сдрейфил, ушел. Прапорщика денщик тоже. А мой Алеха уперся. И вот сегодня утром пришла к нему депутация, — так, мол, и так, пожалуйте, стрелок Шурыгин, на взвод, винтовочку в руки, дневальство по роте и прочие удовольствия.

«Уперся мой Алеха. «Свободный, говорит, я гражданин и, как хочу, так и живу». А те ему писаное постановление в нос суют. И вот, знаете, взяла эта самая депутация моего Алеху на руки

и торжественно понесла в первый взвод. Несут по всей роте, он ничего, не брыкается, а только ругательски ругается. Вся рота собралась, хохот кругом, вообще развлечение первый сорт.

— Ну, а вы что же? — сорвался у меня вопрос.

— Да я что же. Как знаете, сам четвертый день член ротного комитета, против себя итти не могу, да и, наконец, уважая в Алехе права гражданина, считаю это его личным делом, — усмехнулся Хмыров. — Нет, вы послушайте дальше. Спустили его на землю, он выругался да опять прямым трактом к себе обратно. Загоготала рота, опять за ним, опять принесли, уж чуть ли не всей ротой, а он опять домой. Плюнули, отступились.

— А в каком положении этот вопрос сейчас? — спросил я, чувствуя скверный осадок, несмотря на комичность положения.

— Да ничего, отстоял мой Алексей свое положение, был уж и на кухне, обед получил, — думаю, этим и кончится. Впрочем, я ему посоветовал сделать общее собрание денщиков и выбрать комитет для ограждения своих интересов, — под общий смех закончил Хмыров свое повествование.

Телефон, стоявший на столе у адъютанта, зазвонил.

— Геннадий Николаевич, вас начальник штаба дивизии просит, — протянул он мне трубку.

— Здравствуйте, полковник, — услышал я знакомый голос. — Начальник дивизии просил у вас справиться, сумеете ли вы с полком сменить завтра или послезавтра 2-й полк на позиции.

— Позвольте, вы что-нибудь путаете. Как же это так? — удивился я. — Ведь, мы только недавно стоим в резерве и перед этим и так лишних пять дней отстояли на позиции, очередь 1-му полку.

После отступления от Риги и нашего вторичного продвижения вперед мы заняли опять довольно определенную и устойчивую линию позиций. Немец, видимо, оттянул войска с этого фронта, тревожил нас мало, непосредственной опасности на фронте не было. Кто, как и почему, не знаю, но недавно было решено на дивизионном участке держать на позиции один полк, три остальных в резерве, на второй укрепленной полосе верстах в десяти за первой. Позиционные полки сменялись через каждые две недели. Участок нашей дивизии, длиной до восьми верст, теперь занимал 2-й полк, имея впереди себя, на авангарде позиции, 1-й ударный батальон прикомандированный к дивизии.

2-й полк кончал свой двухнедельный срок и заявил, что, если его во-время не сменят, он уйдет с позиции самовольно. Ударники, измученные боевой работой в течение более чем месяца, тоже требовали смены. Я с полком только неделю назад сменился с позиции, где мы в течение трех недель занимали участок чужой дивизии, в которой ни начальство, ни комитет не могли уговорить части занять позицию в виду споров между полками об очереди. И так уж стрелки в полку ворчали и, как передавал

Лисицын, поругивали меня, что я уговариваю и вывожу их по позициям, когда другие отдыхают. Все это я и имел в виду, уверяя начальника штаба дивизии, что он «что-то перепутал».

Но оказалось, что путаницы не было, сам начальник дивизии, сменивши у телефона своего начальника штаба, объяснил мне создавшуюся безвыходность положения: 1-й полк, которого была очередь, категорически отказался занять позицию, мотивируя свой отказ тем, что он будет стоять на своей второй линии и крепко обороняться, но вперед ни на версту не пойдет. Никакие уговоры вплоть до присылки агитаторов из армейского комитета на него не действовали.

«Обороняться будем, а вперед не пойдем».

Командир 4-го полка сообщил по телефону начальнику дивизии, что в виду полной безнадежности он даже пытаться не будет уговаривать свой полк, который стоял на позиции перед 18-м и теперь находился в резерве, занимая самый благоприятный участок в смысле размещения и жилищных условий. Латыши, которые были при нашем корпусе, потребовали своего ухода в тыл армии, куда-то к Валку, это было уже далеко, да и, кроме того, в виду их явно выраженного оппозиционного настроения, даже против армейского комитета, их, видимо, боялись тронуть.

— Поймите, генерал, — убеждал я начальника дивизии: — что вы требуете от полка невозможного.

— Не требую, а прошу, — поправил он меня печально в трубку, — и прошу, сами понимаете, в виду безвыходности положения. Оставить прорыв в восемь верст, это же измена, это... я не знаю, как это назвать, но это недопустимо. Поймите и выручайте.

— Я попробую, — ответил я неуверенно: — но предупреждаю, если сорвется, вы лишитесь полка, потому что после неуспеха я в полку не хозяин.

— Рискните, само положение говорит за необходимость этого. Спасибо, желаю вам успеха. Приказ пришлю сегодня, смена послезавтра, — голос генерала зазвучал увереннней, и, видимо, он бросил трубку.

Собравшиеся офицеры с недоумением и тревогой следили за моими переговорами.

Я положил трубку, все молчали, не говорил ничего и я. Вопрос был тяжел и серьезен. Ставка очень крупна. Испытание для издерганных лиц командного состава непомерно.

— Ну, что же, господа, слыхали? — нарушил я молчание, обращаясь к присутствовавшим.

— Да в чем дело? Почему опять мы? Что случилось? Это невозможно, — одновременно раздались восклицания взволнованных офицеров.

Я объяснил со слов начальника дивизии создавшееся положение и свои мотивы, по которым я решил согласиться на его просьбу.

— Ну как, господа, — обратился я к присутствовавшим — ваше мнение, пойдут роты?

— Моя пойдет, — с загоревшимися глазами, твердо и решительно ответил один Суслов.

Я знал, что это не хвастовство, а твердая уверенность. Свою любовь к полку, к делу, свою служебную честность Суслов целиком перенес на роту. Он спал, ел и пил с солдатами, у него не было минуты, не посвященной роте и ее интересам. У него хватало ума и такта понять окружающее и примениться к современности. Ни одного инцидента, ни одной выходки революционной разнузданности не было у него в роте. Участок его роты на позиции всегда был образцом чистоты и порядка. Когда другие роты беспечно спали на своих участках с развалившимися окопами, с разрушенной проволочной сетью и упрямо не желали пошевелить пальцем для приведения чего-либо в порядок, 10-я рота с Сусловым во главе аккуратно и безропотно, весело наводила порядок и даже совершенствовала свой участок. Только служебной честностью и любовью к полку и солдатам мог объяснить я это явление на общем фоне разложения полка. О политике Суслов не говорил с окружающим, но, видимо, новые для него политические вопросы глубоко задели его душу, и он с присущим ему упорством вынашивал их в себе, ни с кем не делясь своими мыслями. Каким образом он мог при этих условиях и в то время завоевать любовь роты, пользоваться таким авторитетом,—я недоумеваю до сих пор.

«Умный человек, солдат любит и себя в работе не жалеет», сказал мне про него как-то Гурьянов, но и эта аттестация, данная Гурьяновым, не была ответом на мои сомнения.

— Ну, господа, одной роты мало, — обратился я к офицерам: — утешьте еще кто-нибудь.

Присутствовавшие мялись, кое-кто насмешливо улыбался.

— Надо будет позондировать почву у ротного комитета, — сказал нерешительно Волокитин. — Хотя я думаю, что пойдут, — после небольшой паузы добавил он более решительно.

— Ну, а ваша одиннадцатая? — спросил я Шутова.

— У меня, г. полковник, совсем плохо. Без митинга дело не обойдется, и сказать что-нибудь затрудняюсь. До последней минуты ничего не скажу, так как если на первом митинге скажут «пойдем», то на втором наверно решат обратное.

— Все зависит, г. полковник, от того, какой будет митинг перед самым выступлением, четный или нечетный, — перебил своего ротного командира Хмыров, обращаясь ко мне тоном официального доклада.

Все рассмеялись, и упавшее настроение поднялось. Так или иначе надо было что-то решать и действовать.

Вечером принесли обычный лаконический приказ по дивизии, где «приказывалось» полку такого-то числа, в таком-то часу сменить на боевом участке дивизии 2-й полк и ударный батальон.

Обычно распоряжения о связи, сведения о противнике, подробный расчет и подсчет рот, штыков, пулеметов и орудий, все, как было раньше, точно, коротко и безапелляционно.

Адъютант вслух прочел мне приказ и только крякнул.

«Приказом по N Сиб. див. от. . . за №» — засел он за составление приказа по полку — «нашему полку приказано в ночь с 2-го на 3-е сменить. . .» Быстро был написан приказ, и через час ординарцы уже развозили его по батальонам, ротам и командам. К одиннадцати вечера стали выясняться результаты его получения на местах.

Звонил по телефону Малкин, теперь командир 1-го батальона. Батальон его стоял на отшибе и был расположен верстах в четырех от остального полка.

— Как быть? — задал он мне вопрос после обычных приветствий. — 3-я и 4-я роты постановили на позиции не итти и завтра с утра квартирьеров не посылать. — Малкин это говорил совершенно равнодушным тоном и как будто даже немножко злорадствуя.

— Это плохо, Володя, — ответил я ему в трубку.

— А какого же чорта над нами издеваются? — нервно ответил он. — Что мы можем сделать? Я понимаю солдат, — треплют, треплют. Только устроились. . .

— Но во всяком случае квартирьеров ты вышли, — прервал я его брюзжанье. — Не пойдут солдаты, пошли по одному назначенному офицеру от роты. Кроме того, предупреждаю тебя, что из других батальонов мне таких неприятностей не преподносили.

Но я ошибся, через десять минут позвонил командир 2-го батальона Редькин.

— Геннадий Николаевич, 5-я и 7-я роты постановили не итти и не хотят давать завтра квартирьеров. — Голос был возмущенный и почти плачущий.

— Как же это так, Владимир Петрович? — возможно спокойнее сказал я Редькину.

— Поверьте, что я все сделал, что мог, но разве с этой публикой теперь сговоришься. Я боюсь, что они 6-ю и 8-ю завтра с толку собьют.

— Ничего, не волнуйтесь, наладится, а, может быть, их 6-я и 8-я собьет, — почти веселым, деланным тоном подбодрил я его. — А вы квартирьеров во всяком случае вышлите, — не пойдут солдаты, пошлите по одному офицеру от роты. Две роты из двенадцати еще не большая беда. Есть еще порох в пороховнице, — уж совсем весело закончил я нашу беседу.

— Что-то еще третий батальон? — вопросительно посмотрев на меня, сказал в раздумьи адъютант.

Но третий батальон неожиданно нас порадовал. Майский, которого я сам вызвал по телефону, сказал, что у него все спокойно и квартирьеры завтра в восемь часов утра будут высланы.

Но и весь следующий день положение продолжало оставаться неопределенным. То и дело меня вызывали по телефону или лично являлись батальонные командиры с информацией о положении вещей. Шутка Хмырова о четных и нечетных митингах оказалась пророческой. Большинство рот по нескольку раз в день меняли свои решения. Члены полкового комитета после утреннего заседания разошлись по батальонам и вели агитацию за выход полка на позицию. Я взял тон человека, не допускающего мысли о неисполнении моих распоряжений кем-либо. Обычные приказания и указания, разъясняющие мелочи и детали выхода полка, шли нормальным порядком. Штаб полка вел спокойную работу, связанную с выходом на позицию.

Велел оседлать лошадь и с адъютантом объехал ближайшие роты. При объезде нигде не поинтересовался вопросом об отношении людей к выступлению, наоборот, в присутствии стрелков напоминал офицерам об отданных на завтра распоряжениях и настойчиво требовал их пунктуального выполнения. Но ночью не спалось. Где-то под ложечкой щемило и ныло. «Проклятые консервы окончательно испортили желудок», — решил я, засыпая к утру.

Чуть забрезжил свет, штаб полка был уже на ногах. Сложилась канцелярия, утюковано все наше убогое походное имущество. Денщики, вестовые, ординарцы, натаскивая на ногах кучи за ночь выпавшего снега, таскали на запряженные уже двуколки узлы и ящики. В комнате грязь, лужи воды, обрывки бумаги и кучи откуда-то всплывшего мусора. На ярко пылающей плите кипят чайники, разогреваются в десятке котелков немудреные завтраки наши, вестовых и канцелярии, но в комнате зябкий холод от непрерывно открывающейся двери.

Мы все, уже одетые в бекеши, полушубки, шинели, жмемся около стола и обжигаемся горячим чаем. Ждем нервно сведений с мест. Третий батальон близко, и в штабе известно, что он готов к выходу. Молчит Малкин; он по приказу, как стоящий дальше других, должен был выступить раньше. Надо бы спросить, но не хочется показать свое нетерпенье, еще пять минут осталось до урочного времени.

Наконец звонок. «Батальон выступил», лаконически сообщает Малкин.

— Весь?! — не удерживаюсь я от восклицания.

— Весь, — слышу радостный ответ Малкина. — Четвертую роту еще вчера уговорил, а третья только сегодня утром решила, — побоялась одна остаться, чуть между собой не передрались; «подвела, говорят, нас четвертая рота».

— Г. полковник, позвольте доложить, что 2-ой батальон в составе 4-х рот на позицию выступил, — услышал я через пять минут по телефону произнесенный торжествующим тоном доклад Редькина.

Осложнение в последнюю минуту пришло оттуда, откуда я ожидал его менее всего. В полку было три пулеметных команды; две «Максима», вьючная и повозочная, и одна, недавно прибывшая, «Кольта». Эта последняя стояла отдельно и в свое время выступила. В старых командах «Максима» я не сомневался, и был неприятно поражен, когда штабс-капитан Шмелев, возглавлявший обе команды, сообщил по телефону, что команды отказываются итти на позиции, пока им не будет выдано новое обещанное обмундирование. Обмундирование мы ждали, но оно еще не было получено.

Роты уже выступили, надо было что-то решать немедленно.

— Вот что, — сказал я Шмелеву: — торговаться поздно, потрудитесь сейчас со всеми офицерами прибыть в штаб полка для выхода на позицию, при командах оставьте для связи одного подпоручика Жданова. Если кто из пулеметчиков пожелает, может к вам присоединиться. Пулеметы я попрошу у командира 2-го полка, как-нибудь обойдемся, обучим новых. Командам о моем распоряжении передайте.

— Это вы серьезно? — переспросил удивленный Шмелев.

— Я передаю вам приказание, — ответил я и положил трубку.

Поручик Жданов, которого я оставил при командах, молодой краснощекий офицер военного времени, несмотря на свою детскую наружность, пользовался среди солдат авторитетом и уважением. Он принадлежал к партии эс-эров, умел говорить, и я надеялся, что он сумеет помочь мне в этом вопросе.

Через десять минут кавалькада из шести человек пулеметных офицеров и ординарцев подъехала к штабу полка. Молодежь была весело возбуждена необычностью положения. Шмелев смущен и искренно огорчен. Он так верил своей команде.

— Г. полковник, телефон разрешите снимать? — обратился ко мне старший телефонист, давно уже ожидавший этого разрешения.

— Через десять минут, — посмотрев на часы, распорядился я, не отказываясь от надежды на разрешение конфликта с пулеметной командой, и я не ошибся.

— Пулеметная команда сейчас выступает на позицию,—почти тут же услышал я в телефон голос Жданова.

Когда я передал это известие офицерам, радостный вздох вырвался у Шмелева и, пожав наскоро мне руку, пулеметчики весело высыпали на улицу и с довольным видом, смеясь, крупной рысью поехали к своим командам.

— Ну, господа, теперь и наша очередь, — обратился я к штабным.

— Все хорошо, что хорошо кончается, — изрек торжественно Лисицын, не менее меня волновавшийся в течение двух последних суток.

XIV.

Эти семнадцать верст достались мне дорого. Не успели мы отъехать и двух верст, как вчерашняя нудная, ноющая боль под ложечкой скрутила меня в три погибели. Надо размяться и протрястись, решил я, желудок этого боится. Крупной рысью обгоняем мы роты. Весело и бодро шли стрелки, многие роты даже с песнями. Дружно отвечали, когда я с ними здоровался. Будто и не они это издевались надо мной два последних дня. На полпути мои боли усилились настолько, что пришлось в них сознаться спутникам и предложить дальнейший путь ехать шагом.

Но вот, наконец, вдали давно жданное имение, новое место стоянки штаба полка; правда, до него еще три версты, но оно уже видно, и настроение меняется. Мы выехали из леса; пред нами широкая, открытая, гладкая снежная равнина. Барский двухъэтажный дом вычурной архитектуры рельефно виден на темном фоне старого парка. Пред ним чернеет большой пруд, почти озеро. Влево за ним опять синеют леса. Справа от нас в версте старая березовая роща с густой порослью по опушке. Из этой рощи сейчас по направлению в тыл выезжала какая-то конная часть, редкой цепочкой всадников растянувшись по узкой проселочной дороге.

По приказу, в распоряжении начальника полкового участка находилась сотня Донского казачьего полка. Наличие ее было крайне необходимо, в виду растянутости участка и слабого его гарнизона. Догадываюсь, что это она, но куда они едут? Останавливаю свою кавалькаду и посылаю адъютанта выяснить эти вопросы. Спешившись в ожидании адъютанта, уселись на недавно, очевидно, срубленное у дороги дерево.

Видно, как адъютант подъехал к голове сотни. Говорит, очевидно, с ее командиром и скачет назад. А остановившаяся на минуту сотня стала так же лениво двигаться в своем направлении.

— Это наша сотня, г. полковник, — доложил, соскакивая с коня, Лукин.

— А куда же она идет? — задаю вопрос.

— Совсем уходит на Дон.

— Как на Дон?..

— Так точно, я что-то нехорошо понял, не то их Дон вызывает, не то они сами постановили, но только все казачьи части снимаются с фронта и идут на Дон.

— Странно, — но не то меня занимало в это время; я боялся, что факт ухода сотни с участка может панически подействовать на моих стрелков.

— По какой дороге они пойдут? Встретятся с нашим? — задал я тревожный вопрос Лукину.

— Никак нет, я сам об этом подумал и поинтересовался. Сейчас за лесом свернут и прямо на станцию Зегевольд выйдут.

— Ну, это хорошо, — успокоился я: — едем дальше.

— Хороши порядочки, — подслушал я разговор едущих сзади ординарцев: — хохлы в Хохландию, донцы на Дон, а мы с немцами воюй. Видно, и нам, костромичам, надо в губернию собраться да по домам налаживаться.

После нашего грязного домишки мы в роскошных палатах какого-то бежавшего немецкого барона почувствовали себя как в раю. Обстановка была не тронута; мягкая мебель, пружинные матрасы на никкелированных кроватях, — все было к нашим услугам. Великолепная терраса с мраморными ступенями до самого озера была вся заставлена громадными пальмами, уже убитыми морозом, но они все еще были величественными и ярко зеленели под хлопьями сверкающего на них снега.

Постепенно подходили роты, встречаемые здесь своими проводниками-квартирьерами, и скрывались в ближайшем лесу по направлению к окопам.

К 8-ми часам вечера телефоны с ротных участков принесли известие, что смена закончена. Командир сменяемого полка получил от меня документы, удостоверяющие эту сдачу, и с довольным видом уехал со своим штабом, а мы остались полными хозяевами всего окружающего нас комфорта.

Сели ужинать, а я, измученный своей болезнью, не раздеваясь лег и моментально уснул. В два часа ночи меня разбудил адъютант.

— Что случилось? — задал я ему тревожный вопрос, видя по его взволнованному лицу, что причины, заставляющие его меня поднять, серьезны.

— Вас просит к телефону Волокитин, — говорит о каком-то нападении немцев, — торопливо передал мне адъютант.

Как я уже говорил, мы сменили 2-й полк и ударный батальон. Полк занимал с двумя батальонами основную позицию и имел один в резерве при штабе полка. Ударный батальон занимал впереди его верстах в двух авангардную позицию и совершенно прикрывал полк от всяких неожиданностей. Наше положение было хуже. Я имел свой второй батальон на авангардной позиции, два батальона на основной, и весь резерв мой состоял из восьмидесяти человек учебной команды и сорока человек полковых охотников; кроме того, я был лишен и помощи ушедшей казачьей сотни; такова была наружная неблагоприятная для нас картина. По существу же обстановка не менялась по весьма простой причине: по словам командира и офицеров ударного батальона, пред нашим участком фронта совершенно не было противника. До десяти верст вперед освещали они почти ежедневно местность, но немца не обнаружили; кроме того, из трехлетней практики настоящей войны я знал, что никогда немцы не тревожат нас ночью, и если сейчас и было какое-нибудь столкновение в районе 5-й роты, то это могла лишь быть случайно группа немецких разведчиков.

— Вы, г. полковник? — услышал я взволнованный голос Волокитина.

— В чем дело, с кем воюете? — насмешливо спросил я его.

— На вторую заставу было произведено нападение; она убежала, убежала и первая застава.

— Ну? — вставил я.

— И вся рота убежала, — беспомощно закончил Волокитин.

— Да вы-то откуда говорите и когда это было? — говорю я, пораженный его известием.

— Да минут десять тому назад, — я еще не спал, — слышу, на второй заставе граната разорвалась, потом ружейный огонь начался; выбежал, смотрю, вся застава из темноты бежит, кричит: «немцы», «немцы», а слева первая застава лупит. Выскочили из дома остальные спавшие стрелки, подняли стрельбу и все убежали.

— Да куда убежали? — недоумевал я.

— По дороге в тыл. Как прикажете поступить? Отходить? — нервно закончил он.

— Да бросьте, Василий Васильевич, неужели не видите, что все это вздор; не первый день воюете, знаете, что немцы ночью не воюют. Да, наконец, если бы и так, то они бы на плечах заставы у вас давно были. Вы один, что ли, остались?

— Никак нет, связь моя осталась, денщик, телефонист, фельдфебель, повар и обозные от кухни, девять человек всего и баба в их числе, телефонистка.

За несколько дней до выступления на позицию ко мне в штаб полка явились две молодые женщины из расформированного уже к тому времени женского батальона Бочаровой. «Примите нас на службу в полк», — обратились они ко мне с просьбой.

Молодые, здоровые, рослые девицы, шинели туго перетянуты ремнями, на стриженых головах лихо надвинуты папахи.

«Первый случай в моей практике», отношусь скептически и этого не скрываю; на повторные просьбы предлагаю вопрос перенести в полковой комитет, и вот эта пара хорошо грамотных разбитных девиц у меня в полку на должности телефонистов в команде службы связи.

— Ну, как она себя держала? — задаю я вопрос.

— Молодчина баба, не меньше меня ругала и стыдила солдат.

— Ну вот видите, Василий Васильевич, а вы говорите — отходить. Сидите, голубчик, с наличным «отрядом», поверьте, что опасности нет никакой.

— Слушаю-с, — бодрее отвечал Волокитин: — только у меня тут кухня походная. Может быть, на всякий случай ее в тыл отправить? Все же рискованно...

— Кухня? — заторопился я с ответом. — Ни в коем случае. С кухней ваша рота чорт знает куда отправится, а тут наверно к ней завтра утром все соберутся. Ну, покойной ночи, — закончил я свою беседу.

— Ну уж какая тут покойная ночь! — услышал я резонный ответ, и мы положили трубки.

Странное дело, ни чувства горечи, ни обиды за позорное поведение 5-й роты я не нашел у себя в душе. Лег и крепко уснул.

Утром в сопровождении начальника службы связи поручика Ковалевского и своего ординарца я выехал для объезда и ознакомления с позицией. Стоял солнечный зимний день с крепким морозцем. Прямо от имения дорога, окопанная глубокими канавами и обсаженная деревьями, шла по ровному полю. Верстах в двух синела опушка леса. Белизна и яркость выпавшего за ночь снега резали глаза и придавали всему окружающему, после грязных картин осени, праздничный и нарядный вид. Особенно сказочно-красивы были придорожные деревья. Я первый раз видел тот убор, который украшал их и искрился всеми цветами радуги. Ни в центральной России, ни в нашей далекой Сибири природа не проделывает таких красивых причудливых шалостей: каждая самая малюсенькая ветка стройных вязов, лип и рябин, стоящих вдоль дороги, была заключена в ледяной покров не менее пальца толщины, стройными стеклянными столбиками искрилось все дерево, как сказочная богатая люстра своими хрустальными подвесками.

Но Ковалевский не разделял моего восторга и озабоченно обратил мое внимание на другое обстоятельство: идущие вдоль дороги наши телефонные кабели не избежали общей участи. Тонкие изолированные провода, наброшенные на ветки придорожных деревьев и кое-где подпертые телефонными шестами, казались ледяными канатами. Все это было очень красиво, но наводило его на печальные размышления.

— Порвет все провода, — сокрушался Ковалевский: — замучается команда с ремонтом. А что, если сейчас линию снимать придется? Одни клочья останутся, — все больше и больше приходил он в уныние. Но скоро его настроение изменилось. У опушки леса мы наткнулись на двуколку службы связи. В стороне от дороги группа телефонистов что-то копалась около линии.

— Вот уж и ремонт, — грустно проворчал Ковалевский. И сейчас же окликнул телефонистов: — Что вы тут, Семенов, делаете?

Семенов быстро зашагал к дороге и весело заговорил:

— Да вот кабель собираем, второй полк почти всю линию побросал, ну ее, говорит, к чорту, есть у нас этого добра. А чего есть? Поди, ведь, знаем, всего на всего пять верст осталось, — закончил он укоризненно.

— Да как же вы эти ледышки собираете? — удивился я. — Рвете, наверно, на половину?

— Никак нет, приспособились, его хорошо стряхнуть можно.

Удивительная эта команда связи, вечно бунтующая, но всегда работающая. Ни одного приказания мне не пришлось ей отдать за все время. С нее совершенно было достаточно указания. Особая какая-то дружная семья, друг перед другом и окружающими

гордящаяся своей служебной добросовестностью и хозяйственностью.

Маршрут наметили такой: шесть верст по дороге до основной позиции, дальше четыре версты вправо по позиции, оттуда две версты на авангардную, восемь верст по ней, затем две версты до левого фланга основной, четыре версты до центра и шесть верст до дому.

Оказалось, что паника была ночью не только в 4-й роте. В одиннадцатой тоже сбежала одна застава, после случайного выстрела задремавшего часового. Да и вообще ротные командиры не хвалились боевым настроением своих стрелков. По их словам, не только о серьезном, но и вообще о каком-либо сопротивлении в случае наступления немцев нельзя было и думать.

Вид от позиции самый безотрадный. Окопы обвалились, небрежно сделанные ходы сообщений мелки и местами не достигают цели, проволочные заграждения малы и не везде закончены. Кое-что по мелочам, вяло роты делали, но о серьезных работах по усовершенствованию позиций нечего было и думать. Наступившие холода, а главное — настроение людей заставляли совершенно отказаться от этой мысли. Да и не все ли равно, за какими окопами сидят эти люди, давно глядящие только в тыл? Посади их хоть в форты первоклассной крепости, они не изменятся и не сделаются боеспособными. Дело не в окопах.

Отдохнул немного в 10-й роте у Суслова. Самого его застал на оживленных работах по установке засеки[1] в опасном, по его мнению, месте, лишенном проволочных заграждений. Он уже с утра, как оказывается, с ротой обошел свой участок, растолковал стрелкам особенности участка, поделился с ними своими предположениями, как выгоднее использовать эти особенности, сумел их заинтересовать, втянуть в спор, и теперь рота с увлечением рубила и дружно с пением таскала деревья, обделывая их для засеки.

Я поделился с Сусловым своими впечатлениями о состоянии позиции и полка, посетовав на нашу беспомощность в случае наступления немцев. Он, видимо, все это переживал мучительней, чем я.

— 10-я рота, Геннадий Николаевич, задержит немца, сколько это будет нужно, — сказал он, стиснув зубы и смотря себе под ноги.

— Я знаю, Игнатий Васильевич, — протянул я ему руку: — но только помните, учтите обстановку и не погубите себя и роту.

Он крепко стиснул мне руку, отвернулся и ничего мне не ответил.

---

[1] Один из видов заграждений перед окопами: ряд деревьев, очищенных от мелких веток с заостренными концами сучьев к стороне противника, положенных густой сплошной линией иногда в несколько рядов.

На авангардной позиции 5-я рота, несмотря на свое беспардонное настроение, была сильно сконфужена ночной паникой. Да и было от чего, так как по выяснении всех обстоятельств оказалось, что безобидный можжевеловый куст обратил всю, когда-то одну из боевых, роту в бегство.

Сменившийся ночью часовой, присмотревшись к темноте, принял за двигающегося человека качаемый ветром куст. Окликнув и не получив ответа, он от страха увидел чуть ли не целую колонну двигающегося на него противника. Ручная граната брошена в воображаемого немца. От гула разорвавшейся гранаты страх еще больше разобрал стрелка и с криками: «немцы!» он бросился к заставе, увлекая за собой весь караул.

— Слева от нас не все благополучно, — доложил мне Волокитин, когда я закончил объезд его участка.

— А в чем дело?

— Да по приказу должен 35-й полк стоять, а его нет. Посылал связь, — не нашли никого. С утра прапорщик ходил, версты три отошел — пусто.

— Вот сейчас поеду на основную позицию и вам передам по телефону, в чем дело. А вы пока выставьте еще один караул влево, — отдал я распоряжение, прощаясь с Волокитиным.

Малкин, который со своим батальоном занимал левый франг основной позиции, по телефонным справкам знал мой маршрут и встретил меня во фланговой роте.

— Связался с соседями? — задал я ему первый вопрос, пожимая руку.

Он безнадежно махнул рукой.

— Связаться-то связался, да толку от этого мало.

— Как мало? А на авангардной позиции совсем соседей не нашли, — ответил я ему.

— Ну, и у нас находка небольшая. Все ждали тебя, предпринимай, что хочешь, а то люди и без того, сам знаешь, как настроены, волнуются.

Положение, действительно, оказалось печальным и совершенно исключительным. У нашей соседки, «российской», как называли наши сибиряки, дивизии, положение было, повидимому, еще хуже нашего. Непосредственный наш сосед, «российский» полк, совершенно отказался выйти на позицию; заместителя ему, видимо, тоже не нашлось.

Группа офицеров, человек тридцать, и пятьдесят человек охотничьей команды полка добровольно вызвались спасти положение. Конечно, им не под силу было занять весь участок. Выбрав центральное место, более удобное для обороны, эти добровольцы построили замкнутое укрепление, огородили себя проволокой, засекой и крепко засели в свое убежище с твердой решимостью бороться до конца.

— Держи связь влево, — говорили все уставы и инструкции, и это обязывало нас так или иначе связаться с соседями и быть частично ответственными за их вину.

С Малкиным и двумя ординарцами я выехал по направлению к затерявшемуся в перелесках небольшому укреплению. «Кто едет?» окликнул нас появившийся из-за кустов человек в офицерской форме и с винтовкой в руке.

— Соседи, поручик, — ответил я, успев рассмотреть его чин на защитных новеньких погонах, — командир 3-го полка, — назвал я себя, протягивая ему с седла руку. — Скажите, как нам проехать в ваш штаб?

— Штаб полка, г. полковник, далеко, верст двадцать будет; а если вы говорите о нашем отряде, то вот там за группой деревьев вы увидите все, что считается полковым участком, — иронически и, видимо, стыдясь создавшегося положения, кивнул он головой в нужную сторону.

Проехав еще шагов двести, на повороте дороги я увидел эту оригинальную крепость. Довольно большой одинокий хутор с частично разобранными надворными постройками был кольцом окружен чем-то вроде окопов. Кругом масса набросанной кое-как проволоки, очевидно, наспех выдернутых и перетасканных сюда с позиций проволочных заграждений. На приспособленной к крыше площадке стоял часовой. Внутренность новоявленного форта была полна жизни. Дымилась походная кухня, группы людей возились вдоль окопов, очевидно, все еще их совершенствуя. Несколько повозок с привязанными к ним лошадьми стояли тут же и придавали особый колорит этой необычайной картине. Наше появление произвело впечатление. Люди побросали работы, и несколько человек солдат и офицеров вышли к нам навстречу; среди них сказался и начальник группы, высокий, представительный, с большой проседью полковник. Я старался, щадя их самолюбие, не высказывать своего удивления и избегать вопроса: «как дошла ты до жизни такой?» Все было ясно, понятно, — видимо, и мы быстро приближались к их состоянию. Вопрос был поднят один: как исправить создавшееся положение? От соседа ждать помощи было нечего, я же в лучшем случае мог выставить в прорыв одну заставу и поддерживать наблюдение дозоров. На этом и остановились.

— Вы счастливы, полковник, — сказал мне на прощание начальник отряда: — что служите и командуете такой частью, и не поверите, как мне стыдно перед вами и вашими товарищами за свой когда-то славный полк. Глубокая печаль слышалась в его голосе.

— Все части одинаковы, — сказал я ему сочувственно: — и разница между нашими полками, поверьте, не так велика, как она кажется.

Уж было темно, когда мы подъезжали к дому, где с офицерами 3-й роты помещался Малкин. До штаба оставалось еще верст

шесть. Хотелось скорей попасть домой, но мороз, усталость, а главное голод заставили согласиться на просьбу Малкина заехать и закусить у него.

Дом имел три комнаты. Первая от входа и вправо занимались стрелками первого взвода роты. Левая комната была занята офицерами и Малкиным.

Густой туман холодного воздуха клубами ворвался за нами в комнату и на первый момент совершенно закрыл ее от глаз.

— Эй, закрывай дверь, какого чорта холода напускаете! — послышался среди шума громкий оклик откуда-то из дальнего правого угла. Еще шаг — и вся картина на виду. Комната, слабо освещенная висячей лампой, шумит, как улей. В левом углу ярко горела и нещадно дымила плита, ряд чайников и казенных котелков с разнообразной снедью заняли всю ее площадь. Хозяева этих сокровищ толкались тут же, помешивая в своих котелках и ссорясь из-за более горячих и удобных мест на плите. Вдоль всей задней стены густо набросанный ряд соломы покрыт порыжелыми полотнищами походных палаток; на них в различных позах валяются стрелки; кто спит, кто группами мирно беседует. В правом углу на соломе образовался своеобразный клуб. В воткнутом в пол штыке горит свеча, освещая кружок сосредоточенных лиц режущихся в карты. За их плечами группа зевак, видимо, не менее игроков заинтересованная в процессе игры. Из соседней комнаты вправо слышен заунывный звук гармошки и несколько голосов, фальцетом ей что-то подтягивающих.

— Командир полка, — послышались предупреждающие голоса среди стрелков. Не в силу дисциплины, которая была по тем временам жупельным, неприемлемым словом, а просто в силу привычки, как отголосок чего-то прошлого, все лица обратились в мою сторону, и сидевшие встали. Только увлеченный клуб, казалось, ничего не видел и не слышал, или делал вид, что не видит и не слышит, да часть лежавших стрелков прикинулись спящими.

— Здравствуйте, товарищи! — отряхнувшись от снега, обратился я к стрелкам.

— Здравствуйте, г. полковник! — в силу той же привычки ответили солдаты.

Зашевелился и клуб, с видимой неохотой оставляя свое интересное занятие и лениво поднимаясь.

— Занимайтесь своим делом, — бросил я привычную фразу и вошел в комнату, занимаемую офицерами.

Небольшая комната с расставленными рядами, как в больнице, кроватями, посредине стол с горящими на нем двумя свечами, на столе карты, только что оставленные хозяевами, поднявшимися при моем появлении.

— Ба, что я вижу! — неожиданно вырвалось у меня, когда я заметил среди присутствовавших штабс-капитана Гнездиковского.

Гнездиковский месяц тому назад был уволен в отпуск и, откровенно говоря, на его возвращение, особенно в срок, я не рассчитывал. По тем временам уволенные в отпуск, как солдаты, так и офицеры, редко возвращались вообще из отпуска, а о возвращении в срок не было и речи.

— Г-н полковник, представляюсь по случаю прибытия из отпуска, — полуофициально и по своему обыкновению немного заикаясь, подошел ко мне Гнездиковский.

— Откровенно говоря, не ждал вас, Леонид Петрович, — сознался я: — очень, очень рад вашему возвращению. Ну, рассказывайте, что там в России делается, где побывали, что видели, — сказал я, усаживаясь на чью-то кровать.

— Плохо, Геннадий Николаевич, и рассказывать не хочется, сумбур полный, как и у нас тут, не лучше, а в Москве прямо бои идут, еле ноги унес.

— Как, вы и в Москве были и вам еще нечего рассказывать?

— Да, откровенно говоря, особенного ничего нет, из газет подробнее, наверно, знаете, а попал я, действительно, в самую гущу, еле-еле с вокзала на вокзал пробрался. По улицам стрельба, артиллерия где-то бухает, совсем как и у нас на позиции. Патрули ходят, какие-то отряды; где красные, где белые, ничего не поймешь.

— Эх, Леня, как же это ты труса-то спраздновал? Повоевал бы тоже, — иронически перебил его командир 3-й роты штабс-капитан Унтилов.

— Нашел дурака, мало мы повоевали! Пускай-ка они там, тыловые, кровь пополируют, это всем полезно. Да и к кому пристать, чорт их разберет! — серьезно ответил Гнездиковский.

— Правильно! — не унимался Унтилов. — Как угадать, кто победителем останется? Молодчина ты, Ленька, не пропадешь.

— Думаешь дерзость сказать, — обозлился Гнездиковский, — а сам того не знаешь, что, может быть, единственный раз в жизни умные слова из себя выжал. Правильно, брат, не знаю, кто победителем останется; а кто останется, за тем и пойду.

Все удивленно на него посмотрели, но Ленька не смущаясь окончил свою мысль.

— Ты в политике что-нибудь понимаешь? Нет, — ответил он сам за Унтилова. — Ты что-нибудь за это время хотел понять и, кроме брошюр с программами партий, что-нибудь прочел? Нет. Ну, так и я не лучше тебя в этом отношении. А раз мы с тобой дураки, так пускай за нас с тобой умные люди правды ищут. А где победа, там большинство, там, значит, и правда, а такие люди, как мы с тобой, должны без дум за этой правдой итти.

— Ты это искренно, Ленька, говоришь? — задал ему вопрос Малкин, серьезно и испытующе смотря ему в глаза.

— А разве я когда лукавил? — в тон ему ответил Гнездиковский.

— Господа, чаю и закусить, — позвал нас хлопотавший у стола «хозяйка» этого дома прапорщик Цытович.

С наслаждением жевал я предложенный бутерброд, запивая его крепким горячим чаем. Разговор перешел на наши будничные интересы, на наши полковые болезни.

— За месяц-то у вас перемены большие, — заметил Гнездиковский: — а все лучше, чем в тылу, привычней как-то, покойней. Я как в штаб к вам приехал, так и начал чувствовать себя уже дома, — обратился он ко мне, — а вот сейчас до своей роты доберусь и совсем благоденствовать буду.

— А вот у тебя рота сегодня ночью как убежит с позиции, так немного наблагоденствуешь, — сказал Унтилов.

— А завтра рота твоего денщика отберет, — добавил Малкин.

— Ну, не каркай раньше времени, никуда моя рота не убежит, а насчет Якова, так его от меня только мертвого унести можно, — хвастливо ответил Гнездиковский.

— Ну, ладно, поживешь — увидишь, — сказал Унтилов.

Когда мы с Ковалевским вышли на двор, чтобы сесть на лошадей, меня отвел в сторону вышедший нас проводить Малкин.

— Послушай, у меня к тебе большая просьба: отпусти меня в отпуск, — просительно и печально обратился он ко мне.

— Ты что, сдурел, что ли? Сам видишь, какое положение, каждый человек дорог; наконец, полк на позиции, — удивленный его просьбой, ответил я.

— Ты сам знаешь, что я больше не служака при таких условиях. У меня все оборвалось, а, главное, пропала любовь к солдатам. Ведь, ко мне еще хорошо относятся по старой памяти, а скоро я буду таким же лишним человеком, как Редькин и компания. Я не могу уже с ними не только просто дружески, но даже вообще разговаривать. Мне противно это сборище потерявших стыд и совесть шкурников.

— Володя, пощади, зачем же так огульно? Кого ты ругаешь? — перебил я его. — И неужели ты так слеп в своем озлоблении, что не видишь ничего, кроме шкурничества, в настроении и поведении солдат? Будь справедлив, постарайся понять. . .

— Не в том дело, — с досадой ответил он, — но уже с открытой душой и я к ним подойти не могу, я не уверен ни в ком. Да, наконец, за четыре года, ты сам знаешь, в отпуску не был и имею право на него, — перешел он на тон почти официальный.

— Ты, знаешь, меня огорошил, откровенно говоря, — ответил я примирительно. — Лучше приезжай-ка завтра в штаб — договоримся, а пока беги домой, простудишься без шинели.

— Только знай, что завтра я буду еще настойчивей, — сказал он мне на прощание.

В штабе меня ждали гости. Во-первых, явился из отпуска старший врач полка, симпатичный Николай Николаевич, а, кроме него,

сидел начальник участковой артиллерии, высокий блондин капитан Куклин.

— Вот кстати, Николай Николаевич, а я без вас тут совсем замаялся, все под ложечкой ноет и ноет, — радостно приветствовал я доктора, здороваясь с обоими гостями.

— Начальник артиллерии вашего участка, — представился мне Куклин.

— А против «подложечки» я вам кое-что привез, — весело ответил доктор. Выйдя в переднюю, он быстро вернулся и торжественно передал мне в руки целую четверть спирта.

Присутствовавшие поддержали его выход дружными рукоплесканиями.

— Обедать будете? — по обыкновению безлично и как бы сурово обратился ко мне вошедший Николай.

— Обязательно, обязательно, и обедать и ужинать, — тащи все, что есть, — живо ответил я ему.

Сейчас, — вступился оживленно адъютант, — мы сервируем стол на восемь кувертов. А рюмочки прикажете поставить? — лукаво закончил он, уверенный в ответе.

Пока молодежь хлопотала около стола, а доктор занимался «химией» с четвертью, мы беседовали с начальником артиллерийского участка.

— Скажите, г. полковник, вы на своих стрелков рассчитываете?

— Да знаете ли, — ответил я, — это, как теперь говорят, постольку — поскольку.

— Ну, а я перейду к вопросу вплотную, — улыбнулся он. — Если сейчас немцы перейдут в наступление, будут они держаться, или убегут так быстро, что наши батареи не успеют даже на передки орудия взять?

— Стыдно вам сознаться, — с горечью сказал я, — но ручаться сейчас ни за что не могу.

— В таком случае разрешите батареи осадить назад, — решительно заявил Куклин.

— Ни в каком случае, — не менее решительно и горячо возразил я ему.

— Но, ведь, как нравственную, так и служебную ответственность за потерю орудия мы несем с вами одинаково, — удивленный, видимо, моей горячностью, ответил артиллерист.

Но у меня на этот счет были свои соображения. Я все еще не терял надежды и не совершенно изверился в свой полк. Мне думалось, и не без основания, что тревоги и паники первых дней могут быть изжиты и сглажены. Первые дни пребывания в новом участке всегда проходят в более повышенном нервном настроении. Всякий изгиб местности, даже куст, лежащий впереди, кажется вначале полным неясных опасностей. Новые условия, новая обстановка и, наконец, новый, еще не осязаемый противник всегда вол-

нуют даже привычную и крепко спаянную строевую часть. А тут еще, как выяснил я сегодня, похулиганствовали при смене люди ударного батальона. Они наговорили сменявшему их батальону всяких страхов о мнимых опасностях участка и исключительной предприимчивости несуществующего противника. Уход сотни с участка тоже стал известен стрелкам и неблагоприятно отразился на их настроении. А самое главное, их обескураживал тот факт, что мы полком сменили не один полк, а еще ударный батальон, боевая сила которого ими переоценивалась и доходила до невероятных размеров.

Еще сегодня утром Гурьянов, который, как член полкового комитета, жил при штабе, сказал мне, улыбаясь:

— А вас вчера, товарищ полковник, солдаты второго батальона здорово ругали.

— За что?

— Да вот как до штаба дошло, узнали, что им ударный батальон сменять, а не 18-й полк, — надул, говорят, нас Чемоданов, завел опять к чорту на рога.

— Ну, а вы как думаете, Гурьянов? — улыбаясь спросил я его.

— Я думаю, что, коли бы вы в приказе все подробно изложили, мы и сейчас бы еще в резерве околачивались.

Принимая все это во внимание, будучи далек от уверенности, я все же надеялся, что полк, осмотревшись и привыкнув к позиции, не будет уж на ней пустым местом и сумеет оказать, если не серьезное, то все же хоть какое-нибудь сопротивление противнику. Надо было изыскивать способы как-нибудь поднять его моральное состояние, избегать всего, что могло бы его понизить. Предложение Куклина было именно то, чего я не мог допустить.

Всем известно, как пехота цепляется за артиллерию, как поднимает она дух бойцов только своим присутствием, только своей близостью.

— Нет, знаете, капитан... виноват, как ваше имя, отчество? — перебил я себя, обращаясь к Куклину.

— Валериан Михайлович.

— А меня зовут Геннадий Николаевич, ну так вот, Валериан Михайлович, мы давайте с вами что-нибудь другое придумаем, — и я подвел его к столу адъютанта, где была разложена подробная схема нашего участка.

На ней ясно были обозначены места батарей: легкая стояла почти на одной линии с авангардной позицией, а гаубичная на версту дальше и вправо.

— Вот если бы их сюда перетащить, — и Куклин указал мне место чуть ли не у штаба полка.

— Позвольте, так вы так и до авангардной позиции не достанете, — запротестовал я.

— Зато наверно сохраним орудия.

Но я не соглашался, и в конце концов мы договорились, условились и даже нанесли на схеме новые места орудий.

Решение наше вылилось в следующее: два орудия легкой батареи мы демонстративно выдвигаем еще вперед и ставим между основной и авангардной линиями. Эти орудия завтра же произведут пристрелку, заявив тем самым стрелкам о своей близости и готовности их поддержать. Четыре остальных орудия этой батареи мы осаживаем назад и ставим близ дороги в месте, удобном для быстрого отхода. Эти орудия производят пристрелку с тем, чтобы в случае нужды прикрыть своим огнем отход своих двух впереди стоящих орудий. Гаубичную батарею ставим в такие же условия по отношению четырех орудий легкой батареи.

— Геннадий Николаевич, Валериан Михайлович, — окликнул нас доктор: — отложим службу и от батарей смертоносных обратимся к батареям хоть не столь грозным, но не менее существенным.

— Если вы, доктор, со своими батареями произвели такие же удачные комбинации, какие мы сейчас проделывали с полковником над нашими, то мы охотно отзовемся на ваше предложение.

— А в чем дело? — подошел к нам доктор.

Мы его посвятили в свое решение. Куклин весело рассказывал, показывая на плане намеченные места и подчеркивая комическую сторону придуманной комбинации. Но Василий Васильевич не улыбнулся.

— Да, дожили до времечка, — сокрушенно вздохнул он, и тут же другим тоном добавил: — Ну, идите к столу, мои комбинации проще, но без трагического смеха сквозь слезы.

— Да вы выпейте еще рюмочку да перчику подсыпьте, — вот все и пройдет, — уговаривал меня в конце ужина доктор на мои повторные жалобы на недомогание.

— Во-первых, я уж чай пью, а, во-вторых, в вашу микстуру не верю, — ведь, вот где у меня ломит, — указал я на то место, где я чувствовал боль.

— А ну-ка, идите на кровать, я вас помну немножко да выслушаю, — предложил мне Василий Васильевич.

Долго и усердно мял меня доктор.

— Э, батенька, да у вас не в подложечке, должно быть, дело,— покачал он головой, прикладывая трубку к груди.—Так. . . так. . .— повторял он, переставляя ее с места на место. Тон его становился все значительнее.

— В чем дело? — наконец забеспокоился я.

— А вот я вас в пример нашей нервничающей молодежи приводил, а вы оскандалились, тоже сдали.

— Это по чему же вы судите?

— Да по сердцу, батенька, по сердцу, фальшивит оно у вас, тоже, значит, не легко переживаете.

— Так это у меня не живот, значит? — почему-то обрадовался я, не вникая в то обстоятельство, что меняю кукушку на ястреба.

— Нет, не живот, и мое лекарство вам как раз не годится.

— Поживем еще все-таки? — перебил я доктора.

— Ну, поживем, конечно, поживем, пустяки, — просто, сердце теперь у вас лет на десять постарше вас оказалось. Все же капелек попринимать надо. Ну, конечно, и спокойная жизнь. . . — он не окончил и махнул безнадежно рукой.

Доктор ушел к себе в околоток, обещав мне прислать капли. Капитан Куклин тоже собрался и уехал на гаубичную батарею, командиром которой он был.

Я сел подписывать завтрашний приказ и просмотреть текущую переписку.

Во время доклада адъютант рассказывал мне новости, происшедшие за день, и между прочим сообщил, что тут же в имении расположен отряд Красного Креста. Удивление мое будет понятно тем, кто знает, как помпезно обычно располагались эти отряды и какие блага для полка проистекали от такого редкого соседства. Мне показалось невероятным, что я мог не знать о присутствии отряда, находясь в имении более суток.

— Да вы не думайте, Геннадий Николаевич, что это настоящий отряд, тут только одно недоразумение осталось.

Из дальнейших рассказов выяснилось, что осталось действительно только одно недоразумение. По словам Лукина, когда-то, и еще сравнительно недавно, отряд этот стоял тут полностью. За отсутствием боев и малой их вероятностью отряд должны были перевести куда-то для работы в тыл, но полк, стоявший в то время на позиции, этому воспротивился. Чтобы избежать недоразумения, решили перевод отряда замаскировать, оставив на месте его видимость. Сделали это постепенно, и в настоящее время то, что громко называлось отрядом, состояло из большого белого флага с красным крестом на доме, двух сестер милосердия, четырнадцати санитаров и двух парных санитарных повозок около дома. Последними, недели две тому назад, уехали доктор и студент медик.

— Вы понимаете, г. полковник, какое свинство устроили! — возмущался Лукин. — В такое время оставить двух молодых девушек на произвол четырнадцати санитаров.

— А разве молодые? Может быть, и хорошенькие? — посмеялся я на его горячность.

— Да, совсем девочки, и верно, Геннадий Николаевич, очень симпатичные, — покраснев, ответил Лукин. — Понимаете, — все так же горячо продолжал он, — в каких условиях они живут: получают только паек фунт хлеба, питаются чорт знает как, из общего котла, отряд им ничего не высылает, каши даже не варят, и, кроме того, солдаты их заставляют каждый день по два часа газеты читать.

— Ну, это еще не так плохо, — перебил я его, — все же, значит, их общественное положение в этой группе привилегированное. Да что они жаловались вам, что ли?

— Нет, это все из разговоров выяснилось.

— А длинные эти разговоры были? — полюбопытствовал я.

— Грешным делом, засиделся я у них часика два, уж очень симпатичные, — опять смущаясь, виновато сознался Лукин.

— Ну, что же, чтобы так не надрывалось ваше сердце, — сказал я, — приглашайте их к нам каждый день обедать, подкормим девиц.

Прислушивавшийся с интересом к нашему разговору Ковалевский не выдержал.

— Правильное, Геннадий Николаевич, мудрое решение, к нашему комфорту недостает только красивых женщин, — весело потирая руки, вскочил он с места.

— Только, Геннадий Николаевич, уж вы их сами пригласите, — сказал одъютант, — а то они с моим приглашением, пожалуй, не посчитаются и будут стесняться.

— Ладно, устроим, — успокоил я его.

— «Любви все возрасты покорны», — загудел своим баском Ковалевский, шутливо на меня посматривая.

Я погрозил ему пальцем и, утомленный объездом и всем пережитым за последние дни, пошел в свою комнату, чтобы на мягкой пружинной кровати уснуть сном, сном без снов, разбитого физически и нравственно человека.

XV.

Утро началось невесело. Начальник учебной команды, которому я с вечера послал распоряжение занять с командой прорыв между нами и соседом слева, доложил, что команда отказывается стать заставой в указанном месте. Мотивы: не наш участок, и так все за другие полки службу несем. Дело было плохо: учебная команда всегда примерная и самая дисциплинированная часть полка. Она уже прошла курс, сдала экзамен, и я нарочно не распускал ее по ротам, чтобы иметь в руках, на случай боя, твердую единицу. Я не учел того, что несколько месяцев эти люди жили вне полка, в тылу, на линии обозов, где разложение шло быстрее.

— Отказываются упорно и, — как, по вашему мнению, — безнадежно? — спросил я начальника команды штабс-капитана Крыницкого, хорошего во всех отношениях офицера.

— Я полагаю, что безнадежно, — твердо ответил он.

— И полагаете, что мне лично тоже их не убедить? — задал я ему вопрос.

— Я тоже пользовался их доверием до последних дней, но откровенно должен сказать, что в таком настроении, в каком они

находятся сейчас, всякие разговоры будут напрасны: шкурник одолел.

Стоило ли рисковать и итти лично настаивать на исполнении своего распоряжения и в случае неисполнения иметь налицо факт первого, огульного, тем более учебной команды, неисполненного распоряжения. Ставка велика, а игра не надежна.

— Вот, что, — сказал я Крыницкому, посвятив его в положение вещей: — вы у меня не были, и об отказе команды я ничего не знаю. Сейчас вы получите новое приказание в отмену первого. Вам будет приказано распустить команду, как сдавшую экзамен, по ротам.

— Как бы они не заупрямились и на это распоряжение, настроение у них сегодня необычайно боевое, — заботливо сказал на это Крыницкий.

Но этого я не боялся, и, когда Криницкий через десять минут получил письменное приказание, он только удовлетворенно улыбнулся и уверенно сказал:

— Завтра с утра и распустим.

В приказании по полку было объявлено о роспуске команды по ротам. Тут же указывалось хозяйственной части кухню команды передать 5-й роте, взамен пришедшей в негодность, квартирмейстеру отдавалось распоряжение о прекращении отпуска продуктов команде в виду ее расформирования. Ротам же предлагалось зачислить на довольствие людей бывшей учебной команды с завтрашнего числа.

Но дыру прорыва надо было затыкать и надо было иметь хоть небольшой резерв, хоть горсть людей при штабе. В распоряжении оставалась одна охотничья команда, состоявшая из людей старых наборов с большим процентом кадрового состава, в массе из людей беспардонных; охотничьи команды во всех частях дольше других выдержали напор шкурнических настроений. На своих охотников я тоже рассчитывал, и они оправдали мои надежды. С первых же слов, после моего объяснения создавшегося положения, команда изъявила готовность стать заставой в указанном месте. Вопрос был исчерпан. Резерв я набрал приказанием выслать в штаб полка от каждой роты по четыре человека надежных стрелков для связи. Команду эту я поместил в освободившееся помещение охотничьей команды, прикомандировав к ней офицеров распущенной учебной команды.

Потуги для сохранения хотя бы видимости боевого лица полка.

К четырем часам за обедом собралась большая и непривычная компания. Присутствие двух сестер милосердия, молодых, интересных девиц, подтянуло собравшихся. Штабная молодежь сидела в своих лучших кителях, тщательно выбритая. Приехавшие с передовки гости потуже подтянули ремни своих гимнастерок и аккурат-

ней расправили на них складки. Одичавшие в условиях жизни последних месяцев, отвыкшие не только от женского общества, но даже от вида дам, офицеры первое время чувствовали себя, видимо, связанными и держались с комичной торжественностью великосветских банкетов. К концу обеда настроение, однако, изменилось, непринужденность и простота, с которой держались наши гостьи, рассеяли натянутость, и разговор сделался общим, с тем особым оттенком оживленности, который получается от присутствия в мужской компании интересных женщин.

Адъютант не преувеличивал, описывая тяжелое положение наших собеседниц. Условия, в которых они жили, как я убедился сегодня лично из их рассказов, были тяжелы. Неприглядная комната в старом полуразрушенном здании, без печи, с нарами для спанья, некрашеный стол, две такие же табуретки производили мрачное тяжелое впечатление своей неуютностью. Было даже немножко стыдно за наш случайный комфорт. Но молодость не считалась с этим, и невзгоды не уменьшали жизнерадостности и энергии этих девушек. Обе среднего роста, живые, веселые, они по внешнему виду сильно отличались друг от друга. Старшая, лет двадцати, продукт Петрограда, была блондинка с живым лицом и пытливыми серыми глазами, вторая брюнетка кавказского типа, лет восемнадцати.

— Зовите нас, пожалуйста, сестра Ольга и Нина, — заявили они нам на желание узнать их имена и отечества. — Нас так все санитары зовут, и мы к этому привыкли.

Ольга, старшая, человек общественный, была уже делегаткой от сестер милосердия на каком-то съезде в Петрограде, и сейчас по ее инициативе происходило двухчасовое чтение газет и книг санитарам, о чем так сокрушался мой адъютант, считая это их принудительной обязанностью.

Сестра Нина, несмотря на свой решительный вид, была, очевидно, мягким, безвольным человеком и всецело находилась под влиянием Ольги.

За столом сидел Малкин, приехавший спозаранок для переговоров об отпуске. Его обычное за последнее время мрачное настроение, угрюмый вид, сняло как рукой. И я видел прежнего жизнерадостного веселого Володю, оживленно принимавшего участие в общем весельи. Еще утром он зло иронизировал над моими распоряжениями и «тщетными», как он выразился, попытками спасти положение.

— Ты все еще воображаешь себя командиром полка? — с иронией спрашивал он меня. — Напрасно. Всякий паршивый стрелок, объявивший себя шкурником, имеет в полку больше значения и влияния, чем ты.

— А всякий офицер, допустивший себя до такого состояния, как ты, не должен обижаться, если его назовут бабой и мокрой курицей, — обозлился наконец я на его назойливое нытье.

Он отошел и не говорил со мной до самого обеда. Тут же был и Солнцев, приехавший почти к самому обеду. Этот неугомонный человек, в противоположность Малкину, день ото дня становился энергичнее и деятельнее. Он прямо захлебывался в политических вопросах и в поисках своей линии.

— Вы меня, Геннадий Николаевич, в Валк на три дня отпустите.

— Что это вам приспичило? С позиции, знаете, отпусков нет, — ответил я ему.

— Да, я знаю, но, понимаете ли, это и вам, наверно, небезынтересно выяснить, как это вышло: большевики у власти, а наш армейский комитет старый остался, — с лицом, выражающим полное недоумение, окончил он свои слова.

— А вы, что же, думаете его смещать или поддержку оказать хотите? — улыбнулся я.

— Да нет, но все-таки это удивительно.

— А вы поговорите с Пестовым и нашими эс-эрами, — кстати, вся наша комиссия по выборам в Учредительное Собрание у них в руках,—они вам на это дадут точный подсчет сил и докажут, что у нас, например, в полку они преобладают. Если так же по другим частям, то вот вам и разгадка.

— Ну, я уж не так наивен, чтобы в их арифметику верить, знаю я по своей роте этих эс-эров. Эс-эры-то они эс-эры, а как к делу ближе, тоже орут: «штыки в землю», «без аннексий и контрибуций», «долой тайные договоры». А скажи-ка, попробуй, им относительно продолжения войны, — и слушать не хотят.

— Правильно, Вова, в этом деле я не больше вашего понимаю. Поезжайте, разберитесь и мне расскажите.

Теперь, как и Малкин, забыв свои горечи, сомнения, он, оживленно болтая, ухаживал за обеими сестрами, отдавая, видимо, предпочтение Ольге. В сестре Ольге Солнцев почувствовал сочувствующую своим настроениям душу, она так же, как и он, была полна интереса к переживаемым событиям, не считалась с их мелкими жизненными невзгодами и шла смело им навстречу.

— Если бы я не думал, что вас обижу, — сказал шутливо Малкин, прислушиваясь к их разговору: — то спросил бы вас: уж не большевичка ли вы, сестра Ольга?

— Спросите, не обижусь, хотя я и не большевичка. А почему вы думаете, что это обидно? — задала, в свою очередь, она ему вопрос.

— По крайней мере, судя по нашим шкурникам, лестного в таком вопросе мало, — ответил с кривой улыбкой Малкин.

— Вы его не слушайте, сестра Ольга, он у нас сейчас болен, а вообще он гораздо лучше, чем старается казаться, — вступился Солнцев.

Малкин вспыхнул.

— Ради бога, господа, не ссорьтесь,—горячо обратилась к ним сестра Ольга, — а то я буду считать себя невольной виновницей вашей ссоры.

— И вообще, по-моему, довольно политики, она у нас вот где сидит, — показал Лукин на шею. — Да здравствуют музыка и пенье! Господа, будем просить сестер спеть, они поют и нам, конечно, не откажут.

Сестры переглянулись и изъявили свое согласие.

— Только вот если бы гитару, — нерешительно сказала сестра Нина.

— Есть, — вскочил адъютант, — сейчас у писарей раздобуду, — и он со стремительностью, достойной лучшего применения, вылетел из комнаты.

Приятно и непривычно было слушать небольшие, но симпатичные голоса сестер, исполнявших дуэтом немудреные романсики. Красиво звучало стройное, чистое сопрано Ольги, и нежно вторило ему мягкое контральто подруги. Притихли хозяева, гости и далеко-далеко унеслись мыслями от неприглядной и тоскливой действительности. Потом пели хором; заставили тряхнуть стариной и меня.

— А, ведь, вы, Вова, к поезду опоздали: до Рамоцкого не близко, не успеете, — съехидничал я.

— Ах, чорт возьми, верно, — всполошился Солнцев, как бы озабоченно. Но то и другое было так неискренно, что все невольно рассмеялись.

Шли дни. Люди привыкли к участку, освоились, устроились, но скоро кончался наш двухнедельный срок; надежда на смену маленькая. Опять полоса волнений и компромиссов. Бью тревогу в штаб дивизии. Успокаивают — сменит первый полк. Сомнения Солнцева разрешились. 15-го ноября чрезвычайный съезд, организованный большевиками, переизбрал армейский комитет, сделав его большевистским.

— Вы, Вова, еще в большевики не записались? — спросил я как-то Солнцева.

— Нет, Геннадий Николаевич, еще много у меня недоуменных вопросов осталось, не понимаю, например, их политики по отношению к армии. Наверно, это мне мое офицерство мешает разобраться, — добавил он неуверенно, после небольшого молчания. — Ну, раньше, так понятно было, — продолжал он, — а теперь, когда они у власти сами, когда в руках надо иметь силу, то-есть ту же армию, они ее разрушают.

Я ничего не ответил, так как не понимал этого и сам.

Подошел Гурьянов и, по обыкновению, мялся с видом человека, что-то желающего сказать.

— А, Гурьянов, здравствуйте, — протянул я ему руку, — что скажете?

— Да был я сегодня, товарищ полковник, по ротам, — волнуются ребята; завтра, говорят, срок; не сменят — уйти собираются.

— Ваша-то, наверно, не собирается?—ответил вопросом я ему.

— Про нашу и говорить нечего, да и остальные врут,—конечно, не уйдут; все 5-я да 9-я колобродят больше.

— Ну, если они и уйдут, полк, право, ничего не потеряет, — сказал Солнцев.

— Да куда они без полка денутся? — лениво заговорил Гурьянов. — Только вообще допускать этого нельзя. Нет, — необычным для него горячим тоном продолжал Гурьянов, — никто уйти не должен, этого допустить нельзя. Вы, товарищ полковник, по своей линии хлопочите, а мы через комитет армейский будем. Пускай первый полк гонят, довольно ему лодыря гонять. А еще самый сознательный полк в дивизии считается.

Я разочаровал Гурьянова, так как только час тому назад получил сведения, что первый полк на-днях грузится для переброски в тыл, чуть ли не в Петроград. Сменить нас должны 3-й или 4-й полки, но пока что оба упираются.

— Как же быть-то? — огорчился Гурьянов.

— Как быть? Надо стоять. Будем настойчиво требовать смены у верхов и уговаривать низы. Мы теперь, Гурьянов, с вами в одном положении: что выпросим, то и ладно.

— Да, все хуже и хуже дела у нас обстоят, — заговорил Вова. — Люди будто и те же остались, а как соберутся вместе, чорт их поймет, что с ними делается.

— Прав Малкин, что уехал, — сказал он между прочим. — Ему бы теперь совсем не выдержать. А знаете, Володя со мной даже проститься не зашел.

— Вы поссорились, что ли? — задал я вопрос.

— Нет, а так как-то разошлись; он на меня, видимо, просто злился, а мне было тяжело его нытье. И что с ним сделалось, куда все девалось? Рвался впереди всех в мирное время, сколько имел неприятностей за свое заступничество за солдат, а в последнее время он их возненавидел. А как вы думаете, вернется он?

— Нет, Вова, не думаю, чтобы мы с вами его когда-нибудь увидели. — Мои слова оказались пророческими, мы его не увидели и не увидим, так как он впоследствии был убит на колчаковском фронте на стороне белых.

— Капитан Малкин человек был, конечно, ничего, душевный, — дал свое заключение Гурьянов, — только барин большой, вот ему и обидно. Солдата, говорите, любил? — обратился он к Солнцеву. — Так он старого любил, не настоящего, а вот теперешний не по зубам пришелся. А в комитете-то знают о первом полке? — обратился он ко мне.

— Да, — ответил я, — мы с Лисицыным вместе у телефона были.

— Надо пойти с ребятами поговорить, — сказал Гурьянов и, простившись, он отошел от нас.

— Зря наплел это он на Малкина, — по старой дружбе вступился за него Солнцев. — Он просто, по-моему, болен. Ведь такими, кажется, единомышленниками были и совершенно перестали понимать друг друга. Почему это? — вопросом обратился он ко мне.

— Вы, Вова, моложе, гибче и не забывайте, что за его спиной 12 лет офицерства, а у вас раз-два, да и обчелся, корней глубоких не было.

— Ну, а вы-то? Ведь, у нас корни еще глубже, а разве вы ноете, изменили свое отношение к солдатам?

— Пять минут назад я бы вам на это не ответил, — начал я, тут же обдумывая новую для меня мысль, — но вот сейчас слова Гурьянова, кажется, помогут мне вам объяснить и самому разобраться в этой разнице. Он сказал: любил солдата не настоящего, и это, пожалуй, правда. Вы знаете, Малкин вырос в обеспеченной семье и до своего офицерства не знал горя. Ему не было нужды, да и, пожалуй, возможности узнать все стороны жизни, ближе подойти к тому, что называется народом. Впервые он с ним столкнулся при выходе в офицеры в лице солдат, но и тут он подошел к нему неправильно. Условия жизни в полку вам известны. Малкин мало жил в кругу полка и вращался в обществе семьи и знакомых своей жены: в городском обществе, так называемом обществе либеральной интеллигенции.

— Симпатичное и действительно либеральное общество, — перебил меня Солнцев. — Володя меня с ним познакомил, и я до сих пор ему признателен за это.

— Ну, так вот, слушайте, — продолжал я, почуя в его тоне недоумение. — Вы, значит, тем более согласитесь со мной, что у этого общества отношение к солдатам было, может быть, и доброжелательное, но, на мой взгляд, немного и оскорбительное.

— Ни в коем случае! — горячо воскликнул Солнцев.

— Подождите, выслушайте. Слыхали ли вы когда-нибудь там, чтобы кто-нибудь сказал: «солдат», «стрелок»? Нет, никогда не слыхали. А вот этакое сладенькое, по-моему, оскорбительное для солдата-гражданина название: «солдатик, бедный солдатик» — вы, верно, запомнили.

— Это правда, но что ж из этого? — недоумевал Солнцев.

— А вот то, что у Малкина этот «солдатик», этот «бедный солдатик» только и был перед глазами, но солдата-человека, равноправного члена общества, он никогда не видел. Он солдата жалел, мог к нему привязаться даже, но именно как к «солдатику», как к беспомощному и ограниченному во всех своих правах и проявлениях существу. А теперь солдат встал и не хочет быть больше «солдатиком». Он, верно, не умеет этого сделать, и его протесты

грубы, неприятны, все, что есть плохого, сейчас прет из него наружу, но он человек некультурный, и это должно ему простить.

— Ну, а вы? — видимо, заинтересованный, нетерпеливо спросил Солнцев.

— Я? Что ж я? Я родился в семье бедного армейского офицера, первыми моими няньками были денщики солдаты, от них я слышал первые сказки, они были источником моих первых огорчений и радостей. Подрос, и первым, помню, моим удовольствием было попасть с денщиком в роту, дорваться пообедать из общего солдатского котла. С солдатами я делился своими детскими сомнениями и горестями, среди них были мои первые друзья и приятели. Всю жизнь не отходил я от солдата и знаю его со всеми его слабостями, достоинствами и недостатками. Меня обмануть трудно. Как прежде через рабскую призму, так и через теперешнюю, озверелую я вижу его истинное лицо, у меня нет причин для разочарования.

— Господин полковник, Лисицын велели напомнить, что в два часа заседание полкового комитета, — подошел ко мне вестовой из канцелярии.

— Пойдемте, Вова, будем говорить, биться и спасать положение до конца, — весело сказал я Солнцеву, взяв его под руку, чтобы немного рассеять его уныние, овладевшее почему-то им после нашего разговора.

Кончалась третья неделя нашего пребывания на позиции, тоесть тот срок, после которого большинство рот постановило самовольно уйти в тыл. Уговаривание полков, могущих нас сменить, продолжалось, но результатов не давало. Не было нужных доводов и у меня уговорить роты на дальнейшее пребывание на позиции, все было против этого: сменили и стали на позицию вне очереди, простояли лишнюю неделю, и никакой уверенности в возможности смены. Лисицын чесал себе по привычке затылок и вздыхал. Он охрип от речей, но не помогло и его «правильно ли я говорю?». Оказалось, что для большинства рот он против обыкновения перестал говорить правильно.

— Что ж, господин полковник, ведь уйдут? — спрашивал он меня, очевидно, ожидая какого-то утешения.

В конце концов договорились до дела. В тиши «кабинета» мы с Лисицыным, Гурьяновым выработали резолюцию общего собрания полкового и ротных комитетов и назначили это общее заседание на завтрашний, последний пред трехнедельным сроком день.

«Полк стал на позицию вне очереди, стоя вместо положенных двух уже три недели» — говорилось в этой резолюции — «и заявляет, что, понимая всю важность и свою ответственность пред пролетарской революцией, он простоит без смены еще неделю, тоесть в два раза больше положенного. Но справедливость требует, чтобы полк был сменен после этого срока. Полк заявляет, что

если этого не будет сделано, он считает себя в праве, сняв с участка артиллерию и саперную роту, в полном порядке оставить позицию и отойти в резерв для заслуженного им отдыха».

Собрание было шумное. Чуть не испортил дела Майский, внесший свою резолюцию и говоривший в ее духе. В оглашенной им резолюции он ругательски ругал другие части и беспомощность нового армейского комитета, не желавшего, по его мнению, притти к нам на помощь. Прошла наша резолюция с постановлением передать ее телеграфно в дивизию, корпус и армейский комитет. От всех членов собрания заручились обещанием проводить наше постановление в ротах во что бы то ни стало.

Сегодня я в речах Лисицына заметил новые нотки: «земли и воли» уже не было, «мир хижинам, война дворцам» — звучало в его словах.

— Здорово вышло, — сказал мне довольный и сияющий Лисицын, когда мы возвращались с собрания в штаб полка. — Пускай-ка начальство наш орешек разгрызет.

Мне тоже было легче: бороться уже не хватало сил, и ясность вопроса успокаивала.

— А что, Лисицын, как ваши партийные дела? — обратился я к нему.

— Какие? — смутившись, ответил Лисицын.

— Как какие, ведь вы же эс-эр?

— Не хожу, не знаю, я думаю, что тут тоже ошибок много.

— А помните, Лисицын, как вы возмущались, когда я вам говорил, что не горячитесь, молоды еще, перекраситесь? — задал я вопрос, смеясь над его смущением.

— Я вам всегда говорил, что вы хитрый человек, — смущенно, но также смеясь, ответил Лисицын.

Слово «хитрый» для него почему-то означало высшую похвалу умственным способностям человека.

Живем еще неделю. Проводили своих симпатичных приятельниц сестер милосердия, вызванных в отряд. Получаем какие-то бумаги, отвечаем на них, отдаем распоряжения, пишем приказы, приказания, но чувствуется, что это все так, нарочно, никому не нужно. В силу инерции катится внешняя, видимая жизнь полка, а его уже нет.

Через неделю нас сменил второй полк. Но сменил только тремя ротами, так как остальные девять не пожелали покинуть своих насиженных мест и на позицию не вышли. Неделю бился над ними армейский комитет, высылая своих лучших агитаторов для собеседования с ротами полка. Но все было тщетно. Это, видимо, был как раз тот переживаемый последовательно везде короткий момент власти толпы в худшем значении этого слова.

XVI.

Опять мы в том же сером неуютном доме, из которого с таким трудом поднимали полк на позицию. Ранним утром на другой день с адъютантом и ординарцем по распустившимся проселкам мы пробирались в штаб дивизии, находящийся от нас верстах в 12-ти. Злила поездка, и казался ненужным и непонятным вызов в штаб. Что мог дать мне штаб и что я ему? Приказать? — Но кто же теперь приказывает? Доложить о состоянии полка? — Да разве оно не ясно, хотя бы после заявления, что если нас не снимут, то уйдем сами. В два часа ночи добрались только после смены до ночлега, а теперь опять, усталые, не выспавшиеся, тащились по этим топям и болотам. Дороги до штаба не знали, двухверстный план адъютант забыл с собой захватить и спохватился только об этом на четвертой версте, где, мы знали, должен быть для нас сворот с большой дороги. Решили ехать по телефонному кабелю, соединяющему штаб полка со штабом дивизии. С горы на гору, по топким низам, по скользким глинистым подъемам и спускам. Лошади лениво шлепали ногами, с трудом вытаскивая их из липкой грязи, кое-где смешанной еще с талым бурым снегом.

— Паршивая сторонка! В середине зимы этакая погода, — ворчливо сказал адъютант. — То ли дело у нас в Сибири отчетливость: зима — так зима, лето — так лето.

— Стоит из-за этой проклятой страны кровь проливать! Кому она нужна только! — вставил свое слово мой ординарец.

— Ну, продолжай, — обернулся я к нему на седле, улыбаясь.

Тот понял и тоже с улыбкой докончил ходячую теперь среди солдат фразу:

— Так точно, г. полковник, «нам не нужна, а кому нужна, пущай за нее и воюет».

— Это в переводе «мир хижинам, война дворцам». Да уж не большевик ли ты, Цыбакин? — обратился к нему адъютант.

— Нет, это нам ни к чему, а только насчет этого верно, правильно они говорят.

В это время мы ехали лесом, по едва приметной лесной дорожке, на которую завел нас кабель. Перелесок кончался, и перед нами внизу оказалась узкая красивая долина. В самом ее центре была видна группа домов с большим двухъэтажным домом по середине. Тут же торчала высокая железная заводская труба. Когда мы ближе подъехали к этим строениям, было видно, что они заняты какой-то войсковой частью; две дымящиеся походные кухни, несколько казенных двуколок и группа бродивших тут же солдат не оставляли в этом сомнения.

— Да, г. полковник, — радостно и удивленно воскликнул Цыбакин, — тут наша 5-я рота стоит!

— Что ты выдумал, уж мы больше десяти верст отъехали, — неуверенно возразил я.

*

— Да вон у кухни чалый с белым привязан, такой пары не подберешь, тут не ошибешься, — пятая. А вон и 8-й роты вороные стоят, — уж совсем уверенно добавил он.

Надо было заехать, выяснить и убедиться, каким образом эти две роты очутились за 10 верст от штаба полка и от второй линии окопов, оборона которых лежала на полках резерва.

Второй полк, сменив нас только с тремя ротами и одной пулеметной командой, сбил все карты, девять рот и остальные команды оставались на своих предназначенных нам местах. Неожиданность такого положения не дала возможности вчера вырешить участки новых квартир для рот, и пришлось сделать лишь общее указание расположиться где-нибудь дальше в трехверстной полосе за линией. Возможности к этому были полные, так как вся эта полоса была густо заселена и на половину оставлена постоянными жителями.

— Как вы сюда попали, Василий Васильевич? — обратился я к Волокитину, вышедшему ко мне навстречу.

— Ничего нельзя было сделать, Геннадий Николаевич, все помещения по пути солдаты браковали: то грязно, то тесно, то холодно. Они, оказывается, об этой мельнице давно были осведомлены и гнули свою линию, пока сюда не добрались.

— А тут как? — задал я вопрос, чтобы хоть что-нибудь ему ответить.

— Ну, тут-то великолепно, лучше стоянки за всю войну не видали, — не мог скрыть своего удовольствия Волокитин.

— Значит, повезло. Но как же насчет связи? До вас кабеля не хватит, — опять не то, что было нужно, спросил я.

— Да мы через штаб дивизии связались, до него всего две версты, — успокоил меня Волокитин.

Ротные командиры не могли остановить и развести роты в указанном районе. Я, командир полка, не нахожу нужным упрекнуть их даже за это. Меня совершенно не смущает и не интересует, как отнесется к этому начальник дивизии, которому я спокойно и просто сейчас, между прочим, сообщу о случившемся.

В душе ни дум, ни сомнений. Легко. Прежде, до периода мучительных переживаний развала армии, эта легкость была привычной легкостью хорошо работающего организма. Также не было ни дум, ни сомнений. Все было ясно, просто, и легко отдавались и исполнялись полученные приказания. Был тяжелый болезненный кризис. Значит, он кончился? Наступило выздоровление? Конечно, нет. Болезнь оказалась неизлечимой. Не облегчение ли это приближающейся смерти?

Через полчаса мы в штабе дивизии. Трудно передать наше удивление, когда мы вместо блестящего собрания холеных штабных офицеров, офицеров всегда несколько свысока смотревших на нашего брата строевого, увидели унылую, как будто сконфуженную компанию серых людей. Не было блеска обычно украшающих

их погон, аксельбантов и регалий. Мой адъютант со своими аксельбантами и золотыми новыми погонами, я со своим скромным орденом казались яркими пятнами на общем бесцветном фоне.

— Вчера вечером, — разъяснил нам наше недоумение начальник дивизии, — получено распоряжение о проведении в армии выборного начала, об отмене чинов и всех знаков отличия. Как видите, последнее в штабе дивизии уже проведено в жизнь.

Он, как мне показалось, горько улыбнулся и обвел глазами присутствовавших.

— Я, — потом объяснил мне начальник дивизии, — не хотел передавать этого распоряжения по телефону и вызвал всех командиров полков. Нужно это провести в жизнь быстро и решительно, чтобы не вызвать эксцессов со стороны стрелков. Надо, чтобы это было проделано прежде, чем об этом узнают солдаты.

В штабе узнал еще новость: мой первый батальон по тем же причинам, как и пятая и восьмая роты, выбрал себе стоянку в 12-ти верстах от штаба полка, в поселке бумажной фабрики «Лигат». Связаться с полком телефоном пришлось через дивизионный лазарет, который находился там же, и штаб дивизии.

— Ничего нельзя было сделать, — передал мне по телефону командир батальона, и в тоне его я уловил те же нотки безразличия, сознания своей безответственности, которые я только что обнаружил в себе.

Пообедав по приглашению начальника дивизии в штабе, мы через час быстро возвращались уже теперь знакомой дорогой в полк. Перед отъездом я передал распоряжение Ковалевскому вызвать в штаб к десяти часам всех офицеров полка, и надо было торопиться к сроку.

Быстро наступили зимние сумерки, и вплотную за ними спустилась темная ночь. Резкий встречный ветер начавшегося заморозка обжигал лицо, дождь, перешедший в ледяные тонкие иглы, колол щеки, забивался за шею и лез в уши. Пришлось снять пенсне, что всегда нервирует близорукого человека. Я совершенно отдался в распоряжение лошади. Не менее меня слепой адъютант оказался в таком же печальном положении; только ехавший впереди Цыбакин со своими рысьими глазами чувствовал себя совершенно уверенно и великолепно ориентировался в мало знакомой сложной дороге. «Тут канава, сучок, наклоните голову», то и дело уверенно доносился сквозь завывание ветра его голос. Но вот, наконец, выехали на большую дорогу. Настроение лучше, только четыре версты до штаба, можно пустить рвущихся лошадей полной рысью, и, что самое главное, заморозивший лицо ветер начал дуть в спину.

— Ну, наконец-то выбрались из этой дебри, — радостно заговорил Лукин под веселый дробный стук лошадиных копыт. — Сейчас дома чайку горячего хватим и все невзгоды забудем.

— Опоздали, кажется, сильно, как бы офицерство не разошлось, — невольно пришпорил я лошадь, действительно озабоченный этим обстоятельством и совершенно потеряв представление о времени.

— Только половина шестого, как раз поспеем, — сказал Лукин, на ходу вытащив свои часы с светящимся циферблатом.

Вот проехали хутор, где расположился наш околоток. Заехать бы отогреться. Соблазн. Но гоним без остановки дальше, и через десять минут свернули с шоссе на липкую, размолотую, хотя и примороженную грязь двора штаба.

Сквозь грязные закоптелые окна слабо освещенной комнаты видны массовые силуэты людей. Сквозь бумажные заклейки разбитых стекол доносится шум большого сборища. Вот взрыв хохота. Темные сени, низкая дверь.

«Господа офицеры!» официально раздается при моем появлении громкий возглас старшего из присутствующих подполковника Редькина.

Последний раз слышу я этот возглас, приветствующий входящего начальника. И опять удивился. Удивился радостным удивлением. Никакой горечи не было в моих переживаниях.

Сбросить шинель, обтереть полотенцем мокрое застывшее лицо было делом одной минуты.

Сразу притихло шумное веселье, целая гамма переживаний прошла по лицам присутствовавших, когда я начал передавать полученное мною распоряжение о проведении выборного начала и об уничтожении чинов.

— Погоны, товарищи, — серьезно подчеркнул я это непривычное обращение, — я просил бы вас снять, не выходя из этой комнаты. Во-первых, мы будем, как всегда, исполнительны и точны до конца в этом последнем приказании, полученном нами, как офицерами, а, во-вторых, как говорится, «на людях и смерть красна». Николай! — крикнул я копавшемуся в моей комнате денщику.

— Что прикажете, господин полковник?

Насмешка! В ту минуту, когда я снимаю с себя этот чин, он, наконец-то, решился меня им назвать.

— Поздно, брат, спохватился, — невольно улыбаясь этому совпадению, сказал я ему: — во-первых, дай ножницы, а, во-вторых, знай, что никаких полковников больше нет и называть ты меня должен «товарищ командир полка» и никак больше.

— Ну, уж на это я согласен не буду, господин полковник, — упрямо ответил он, направляясь за ножницами.

И действительно, до последних дней нашей совместной жизни он, вопреки всему, именовал меня полковником, упрямо подчеркивая это обращение.

— Итак, товарищи, за дело, — обратился я к присутствовавшим, вооружаясь ножницами и снимая китель, — как командир полка, я делаю почин.

Я не торопясь развязал шнурки у погонных пуговиц и срезал их у уснования. Все быстро и нервно принялись за работу. Кто аккуратно проделывал это ножницами, кто возбужденно срывал их с плеч, чуть ли не с мясом. Я видел перед собой ряд лиц, очевидно, глубоко, но по разному переживавших момент. Бледный, недоумевающий, растерянный Редькин уставился на меня жутким, молящим и что-то спрашивающим взором. Весь красный, со злобным лицом, крепко, по-солдатски выругался, сам того не замечая, за войну из фельдфебелей выслужившийся до чина поручика Федоренко. Вот ряд лиц, только растерявшихся и не сумевших еще переварить и осознать значение совершившегося. Но есть и не удивленные, спокойные лица, только, видимо, крепко задумавшиеся над этой переменой, над этой похоронной песнью нашей старой армии.

— А ну вас к чорту! — раздался резкий возглас Свечина, и он со злобой швырнул только что срезанные погоны на пол. — Извели меня, проклятые, измучили, — как бы ответил он на общее удивление окружающих. — С ними все казалось, что я все что-то должен, что-то обязан, пред кем-то виноват, а теперь сняли погоны с 3-го полка — и нет полка. Нет ни долга, ни ответа. Прощай, полк, — тихо, почти шопотом, но ясно, отчетливо раздавшимся среди наступившей напряженной тишины, окончил он громко начатую речь. Слезы слышались в этом прощании. Почувствовалось, что его настроением заражались окружающие. Выручил, как и всегда в таком случае, Хмыров.

— Ты что, Ваня, куксишься, погончики долго режешь? — обратился он заботливо к самому молодому из присутствовавших, прапорщику Марину. — Жалко, что ли? Правда, тяжеленько тебе будет без привычки без золотых погон щеголять.

— Без привычки? — засмеялся кто-то. — Да он всего два месяца как их одел.

— Для кого два месяца, — серьезно возразил Хмыров: — а для Вани это полжизни, с пеленок, можно сказать, в погонах ходил — и на вот тебе, снимают, — сочувственно хлопнул он по плечу как пион покрасневшего Марина.

Атмосфера разрядилась, каждый поддержал шутку, стараясь скрыть, замаскировать свое подлинное настроение. Официальная часть собрания кончилась. Поднялся шум, обычный шум возбужденной взволнованной толпы, где сквозь горячие возмущенные окрики, жалобные нотки прорывались звуки то иронического, то искренне веселого смеха.

— Я все понял, — подошел ко мне Солнцев, лицо его сияло, и глаза весело блестели, — я все понял, Геннадий Николаевич, — возбужденно повторил он. — Большевики правы: гнилому, отжившему нет места в нарождающейся новой жизни. Это надо понять всем...

— Вы, Владимир Васильевич, забыли, что о покойниках или не говорят совсем, но во всяком случае их не ругают, — деланно спокойно перебил Вову стоявший тут же Майский.

— Да не ругаю я, голубчик, Анатолий Николаевич, нашего покойника,—также восторженно возразил ему Солнцев,—только морщусь от его трупного запаха. Это же позволительно? Я верю в него больше, чем вы. Помните, вы говорили, что армия гибнет, а с нею гибнет и Россия.

— Да, говорил, убежден в этом и теперь, — сухо ответил Майский.

— А я верю, — горячо подхватил Солнцев, — что то, что совершается кругом, есть не смерть, а воскресение: умерло прогнившее язвами тело старой армии, а свободный от рабской оболочки ее дух найдет более подходящее помещение и будет с честью служить делу освобождения человечества.

— Вы ничего не сказали о России, — сказал резко Майский.

— Я говорю о человечестве, — в тон ему ответил Солнцев.

— Вы большевик?

— Утром им не был, сейчас да.

Ирония и презрение слышались в вопросе Майского, вызов и восторженность в ответе Солнцева.

Непримиримая смертельная вражда невидимо легла и отделила этих двух так недавно расположенных друг к другу людей.

В разных углах, во многих группах шли горячие споры. Не бесследно прошли эти тяжелые месяцы политической борьбы и опыта. Уж не безграмотные дети слышались в спорщиках. На безличном политическом фоне массы бывших офицеров стали появляться неясные, но уже приметные оттенки, а иногда и резко очерченные фигуры. Деникинцы, колчаковцы и будущие красные командиры намечались этим собранием. Люди, четыре года рука об руку боровшиеся в окопах империалистической войны, расходились, чтобы в будущем поднять друг на друга руку в борьбе классовой, в борьбе кровавой и беспощадной.

Но старая армия не умерла. Как слепок, как нераздельная часть своего народа, она и не могла умереть, она лишь вместе с ним проходила чистилище, болела с ним одной болезнью и вместе же воспрянула в новом преображенном виде, чтобы под Красной Звездой бороться за мир всему миру.

